

«Я читал тебя и думал, радуясь: ВОТ СОШЛИСЬ, СОВПАЛИ...»

Из переписки Льва Аннинского и Игоря Дедкова (1973—1987)

Отмотаем время на полвека назад — в середину 70-х и последующий десяток доперестроечных лет. Для тех, кто тогда не жил: эпоха политического и экономического «застоя» — и ненасытно читающая страна, книги и литературные журналы передают из рук в руки, от них ожидают и требуют объяснения того, что происходит с человеком и обществом, в них истово ищут нравственные ориентиры, о них спорят на кухнях. Литература дает возможность приоткрыть правду о цене победы в войне и жертвах коллективизации, пытается срастить концы разрубленной революцией истории. Журнал, если в нем нет — условно — новой повести Астафьева или рассказа Шукшина, начинают читать со второй «тетрадки», с конца: с публицистики и литературной критики. В ситуации политической цензуры литературная полемика становится едва ли не важнейшей формой публичной саморефлексии общества. Плодотворнейший феномен — тогдашняя плеяда критиков разных идейных направлений и эстетических приоритетов: Владимир Турбин, Вадим Кожинов, Андрей Турков, Юрий Буртин, Игорь Золотусский, Пётр Палиевский, Владимир Лакшин, Владимир Бушин, Игорь Виноградов, Станислав Рассадин, Станислав Лесневский, Алла Марченко, Олег Михайлов, Валентин Курбатов... Профессионалы и личности. И, конечно, еще два обязательных имени в этом заведомо неполном списке — Лев Аннинский и Игорь Дедков.

Они ровесники, оба родились в апреле 1934-го, знакомы с университета (шапочное знакомство — обронит потом Аннинский, учились на разных факультетах).

В 56-м, после доклада Хрущёва о культе Сталина, Дедков стал лидером студенческого бунта на журфаке (они требовали решительных перемен на факультете и в стране) и вместо аспирантуры оказался в Костроме, в редакции газеты «Северная правда», под присмотром органов госбезопасности, на несколько десятилетий оторванный от бурления столичного «литпроцесса» (это с его-то гражданским темпераментом и идеей *служения*) и невыездной. Назначению в расквартированный в Праге журнал «Проблемы мира и социализма» помешало КГБ. К тому чтобы Дедков не стал по приглашению главреда «Нового мира» Сергея Залыгина его замом, приложили руку товарищи от литературы — после разгромной статьи о романе Юрия Бондарева «Выбор». («Хорошо еще заставы на московской дороге не выставлены...» — горько усмехнется Дедков в письме Аннинскому.) В Москву удалось вернуться лишь в 87-м, потребовалась санкция Горбачёва.

Аннинский, уже сдав вступительные экзамены, тоже в аспирантуру не попал — внезапно изменились правила зачисления: требовался обязательный производственный стаж. Пришлось искать работу. Взяли в журнал «Советский Союз» делать подписи к фотографиям — и через полгода уволили за «профнепригодность». Так начался, как он

сам говорил, путь в *литподённости*. Работал в «Литературной газете», журнале «Знамя». Из журнала пришлось уйти после того, как подписал письмо в защиту своего университетского преподавателя Андрея Синявского. («Когда была возможность хоть как-то его защитить, я сказал: это мой учитель, и я его защищаю.) Устроился редактором в Институт конкретных социологических исследований АН СССР. И только в 72-м тогдашний главный редактор «Дружбы народов» Сергей Баруздин пригласил его в отдел критики журнала.

С этого времени и началась переписка Дедкова и Аннинского и возобновились их личные отношения.

Не сказать, чтобы бросились друг другу в объятия. Аннинский: «При всей взаимной приязни, мы в начале 70-х годов стояли на достаточно разведенных позициях».

Как маркер: Дедков печатался в «Новом мире» еще со времен Твардовского. Аннинский же признавался, что хотел быть вместе с авторами «Нового мира», но они не пустили его «в свою компанию» — «им нужны были бойцы, готовые насмерть стоять за либеральные идеи. А я по характеру никакой не воин». Дедков был воин. Он не был ни либералом, ни консерватором, ни националистом, ни космополитом, он был, как ни удивительно звучат эти слова, поставленные рядом, демократом и патриотом и был готов биться за свои идеи. Аннинский признавался, что с самого начала оказался между либералами и ортодоксами, идти к «правым» не хотелось, в итоге навсегда остался *между*: не бойцом и не воином — *пограничником*. Ему со временем перестал быть важен цвет трибуны, важно было вбросить идею, нередко провокативную, высказаться. (Пожалуй, главная статья Аннинского тех лет — «Жажду беллетристики!». Главная статья Дедкова — «Когда рассеялся лирический туман». Обе комментируются в их переписке.)

Но дело, конечно, не только в характере и темпераменте. Снова сошлюсь на Аннинского, это сформулировано гораздо позже описываемого времени и через десять лет после смерти Дедкова: «Разномыслие наше касалось и фундаментальных ценностей. Мне в качестве героев уже не светили ни подлинные демократы-ленинцы, очистившиеся от «культы Сталина», ни первозванные марксисты, очистившиеся от «тоталитаризма», ни борцы с самодержавием, которые учат жить диссидентов, от них произошедших. У меня Плеханов уже был перепахан Бердяевым, а Луначарский подмочен Розановым. Игорь тоже не оставался в иллюзиях 50-х, но он, кажется, шел от Новгородцева, от Чичерина, от Сергия Булгакова, от идеалистов скорее социально-созидательного, чем духовно-беспочвенного окраса. Нашей встрече ничто не мешало, кроме этих исходных позиций, но черту все-таки следовало преступить, несхожесть стартовых позиций должна была обозначиться».

Читаешь — и ежишься от неловкости, и оглядываешься по сторонам — у кого из нынешних писателей и критиков *такой* бэкграунд разномыслия?..

Но, продолжает Аннинский, «что меня поразило — так это интонация, в которой Игорь фиксировал несогласие. Он не говорил: «ты неправ». Не говорил: «это не так». Тем более, не говорил: «это чушь, ретроградство, фанфаронство», мало ли еще как можно было наградить меня за мои эскапады, даже и в неподцензурной переписке дышавшие все тем же юродским хмыком. Почему это так у меня — другой вопрос. Не о том сейчас речь. Речь о Дедкове. На мои рассуждения он отвечал: «согласиться с тобой — не готов». Именно так — не готов. И точно, и щадяще. Мне этот стиль грел душу».

Это переписка дружеская — с новогодними поздравлениями, приветами женам и приглашениями в гости. С тревогой, удастся ли прожить, уйдя со службы. С униженностью бытом, когда масло в Костроме только фруктовое и продуктовый заказ — уже праздник. С «пробиванием» по инстанциям и соседям-кооперативщикам освободившейся в доме квартиры, жизненно необходимой для разросшейся семьи

(это письмо Аннинского отсылает к прогремевшей за пару лет до того «Кляузе» Шукшина, прозой которого он в это время занимается). С брезгливостью к околотературным дрызгам и склокам. С горькой констатацией того, что после тупых сокращений, несогласованных вписываний и цензурных изъятий «только идиот» будет судить о них по книгам.

Но не будем забывать: Аннинский работает в «ДН», а Дедков — автор журнала, и оба нередко пишут об одних тех же писателях и откликаются на одни и те же книги.

Это переписка двух самостоятельно мыслящих, отдельно стоящих на литературной шахматной доске людей, не только способных слышать другого — заинтересованных в диалоге. Дедков: «Ты заставил меня думать над тем, над чем я не думал. В этом случае степень согласия имеет второстепенное значение».

Думать — не только о Толстом, Лескове, Трифонове, Быкове, Адамовиче, Бондареве, Маканине, Матевосяне, Вознесенском... журналах-издательствах, литературных полемиках и внутрилитературных сюжетах. Думать о российской матрице государственного устройства и общественной жизни, о своей роли — толкать вагон, к которому не прицеплен паровоз, думать об ускользающем времени, которое не остается ни в газетах, ни в литературе, а потомкам будет не до того, чтобы разбираться.

Масштаб личности. Уровень разговора. Круг чтения. Стремительно меняющаяся реальность. Что их заботит, что они для себя открывают, что и как обсуждают. С какой прямотой — и с какой оглядкой.

Дедков пишет в 76-м году: «"Дом на набережной" напоминает о некоторых ясных вещах, которые мы — единственно по слабости нашей, а не по уму, — стараемся обходить стороной и даже затуманивать. ...Трифонов вышел своим путем — через якобы невнятный пересказ быта — на самое важное, и я тоже вспоминал свое, и в своем поколении узнавал их поколение и не понимал, почему это надо носить в себе, сгребать в темный угол и почему патриотические декламации важнее, нужнее, популярнее этой элементарной правды и честности? Это и вправду был быт с таинственными недоговоренностями и невнятностями, с приливами озноба и страха. Счастье, что время наших поступков и решений началось после марта пятьдесят третьего. Наше мужество было испытано, но недостаточно».

Аннинский — это 83-й год: «Теперь слушай. Человек, который про песок писал, теперь новый роман кончает. Я читал. Там есть страшной силы фигура. Знаешь, кто? Тот, чей 12-й том навел тебя на мысль "литпортрет" его сделать. Там не "лит", там — поглубже. Что твои "корпуса" и "шараги", и "круги", и все то, что мы считали пределом, там была одна слепая злоба, а тут — тут взгляд посерьезнее. Это я тебе ответственно говорю, чтобы ты, если будет случай прочесть (рукопись, естественно, — дальше не пойдет), чтобы ты не пропустил... («Тэги», как сказали бы сегодня: Анатолий Рыбаков, его роман «Тяжёлый песок», Сталин, Солженицын, роман «Дети Арбата», спустя четыре года опубликованный в «Дружбе народов».)

В их переписке — *то время в тех* ощущениях и *на языке того времени*, — и вот это как раз важнее всего.

Важно сегодня, когда создается миф о позднесоветском отрезке истории и декларируются устои нового общества, когда страна перестала читать, когда, практически лишенная площадок для высказывания, исчезает контекстная, проблемная критика, когда вообще разучились писать письма.

Дедков — в том же письме 76-го года: «Самое трудное и мужественное занятие — ходить по земле. ...Как бы мы ни хотели, без полного нравственного расчета с прошлым далеко мы не уйдем. А если и уйдем, то все равно — вернемся, чтобы только потом уйти на самом деле».

Это важно понять и нам, вернуться, чтобы попробовать разобраться в их и нашем времени и идти дальше — вместе с ними.

Наталья ИГРУНОВА

Эпоха, мучительно или скоморошно выражавшая себя в печатной словесности, самое сокровенное договаривала в письмах, до коих не могла добраться ни неистребимая до кошмара цензура внешняя (иногда скрывавшаяся под маской редактора), ни кошмарная до неистребимости цензура внутренняя (иногда продолжавшая жить в подкорке того, кто решался высказаться).

И вот пришла пора доставать старые письма из глубины столов.

В 1972 году, перейдя на работу в журнал «Дружба народов», я по долгу службы послал Дедкову какую-то редакторскую правку к его статье, прося утверждения. Он утвердил, но, к моему удивлению, этой визой не ограничился, а прибавил несколько дружеских фраз, то ли поздравив меня с каким-то праздником, то ли отозвавшись на какую-то мою статью.

Растроганный, я ответил.

Так началась переписка.

Лев АННИНСКИЙ

Лев Аннинский — Игорю Дедкову

19.1.73

Дорогой Игорь,

Лидия Абрамовна¹ дала мне прочесть твою работу о Гоголе и Кафке, и я хочу сказать тебе, что статья произвела на меня сильное впечатление. Читается это безотрывно, написано — с большим ощущением внутренней необходимости и чисто русским ощущением вины и боли. Это — одна из тех работ, коими теперь обеспечивается перестановление духа в новой интеллигенции, и мне хотелось бы поддержать и укрепить тебя — сколь это в моих силах и сколь это окажется тебе нужным. Не обижайся, но теперь я чувствую себя более близким тебе, нежели когда читал твои публиковавшиеся статьи, например, о деревенской прозе, — хотя боль чувствовалась и там. Скажу тебе, в чем полюс этой близости, а заодно — и в чем полюс моего несогласия с тобой *теперь*.

Близок я тебе там, где ты опасаясь самоуверенного полета передовых безупречных умов и видишь человека не *в исправленном* Башмачкине, а именно в таком, какого сделала жизнь. Легко встать на сторону униженного, когда тот защищен неуязвимой броней стоицистской атараксии, но трудно увидеть человека в существе, самый дух которого раздавлен. *Нищего духом* полюбить — труднее, чем присоединиться к бульдозеру духа.

Неблизок я тебе в твоём тираноборчестве. Я думаю, что власть мешает лишь тем, кто хотел бы делить эту власть с имущими. От власти страдания много, но от безвластия будет — еще больше, и не *давить* хотел Бенкендорф — тут ты впрямую ошибаешься, — а *умиротворять*. Опыт был, ты знаешь: давителей укоротили. Какою кровью восстанавливали укороченное и в какой жесточайшей, сравнительно с прежнею, форме — ты знаешь же. Не стоило ли бы подумать, над этим опытом? Да ведь и Василий Васильевич, и Николай Александрович², которым ты отдал должное, только над этим и думали. Что кидаешься на систему: на ту систему, на эту? Или делить хочешь, участвовать? Без системы Россия в крови тонет, и сказать честно: чепуха это, что в России система *дух* давит, — в России система от веку, от начала ее — соискателей власти сортирует и давит, но духу она, в общем, попустительствует. Вот у нас и Гоголь — *есть*. Вот у нас и ты — *есть* с этой статьей. Дай тебе «департамент» (это я опять В.В. цитирую) — ты Гоголем заниматься не станешь. А коли выбрал — так оставил бы структуры и системы в покое: их дело — хлеб и металл, а твое дело — душа.

А?

Ну, дай тебе Бог, Игорь. И в несогласии с тобой — фундаментально все равно чувствую солидарность: и как с пишущим, и как с мыслящим, и как с болеющим совестью собратом.

Твой Лев Аннинский.

¹ Лидия Абрамовна Дурново — сотрудник отдела критики «Дружбы народов». (Здесь и далее — прим. ред.)

² Философы Василий Васильевич Розанов и Николай Александрович Бердяев.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому

5.2.73.

Дорогой Лёва,

я был рад твоему письму — всему, и очень благодарен тебе за «поддержать и укрепить» — это мне и в самом деле далеко не безразлично в связи с особенностями провинциальной жизни и характера.

Многое я понимаю похоже или так же, кирпичная кладка во мне разрушена и давно; Николай Александрович и другие действуют на меня сильно, но вторая часть твоего письма вызывает у меня некоторое сопротивление. Ни делить, ни участвовать я не намереваюсь, но признать, что всякий порядок — от Бога, — не могу, благодарить за «попустительство» духу, Гоголю и т.д. — не готов. Впрочем, тема эта плохо поддается письменности, а при разговоре мы, наверное, поняли бы друг друга. Я всегда читаю написанное тобой — с давних времен, и никогда оно не было мне чуждо. (Кроме одной статьи — о Виноградове; она более других была поступком и как поступок — уязвима.) Вот о Трифонове статья мне показалась очень сильной — по ходу мысли, уводящей очень далеко от наезженных дорог...

Лёва, но ведь не касаться «структур», «хлеба», «металла» — невозможно. И ты о Чешкове¹ писал, и не без энергии. Душу из всего этого в чистом виде не вычленишь, даже церковь на это не способна, да и не захочет она этого полного «вычленения», этой абстракции, иначе она перестанет быть *земной*.

Конечно, мое сочинение в части «государственной» я бы сегодня переделал. Но вдохновляло бы меня на это не «реальное» российское государство, а идеи Б.Чичерина², например.

Лёва, прости меня за всю эту чертовщину. Смысл «вышеизложенного» — в моей благодарности; над тем, что ты написал, я еще подумаю; вообще хорошо, что ты так все понял, — это дорогое для меня письмо.

Всего доброго тебе и дому твоему. Твой Игорь Дедков.

¹ Герой пьесы И.Дворецкого «Человек со стороны» — в 1973 году вышла экранизация спектакля, поставленного А.Эфросом в Театре на Малой Бронной.

² Борис Чичерин — философ, публицист, один из основоположников конституционного права России.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову

8.2.73.

Дорогой Игорь,

спасибо, что так откликнулся и так все воспринял, — письмо твое многое уравновесило в твоей статье; во всяком случае, с тобой я всегда договорился бы даже по тем вопросам, которые неразрешимы в принципе (порядок — от Бога, а беспорядок — от кого? А если б Николай I Гоголю не мешал бы, а помогал — было бы «лучше» или «хуже?») — и я стою на Чичерине... А что дух нигилизма вызывает во мне реакцию, преувеличенную до *поступков*, — так это от судьбы моей; я считаю, что

много Россия страдала от неземных мечтателей, а от «земных» все ж не меньше; и потом — мне-то душу по *этим* чертежам выкроили, по Вилюйским, — так, что до сих пор не вспомню, кто я и откуда, может, от этого я и пристрастен, ты уж не сердись на меня. В других-то ситуациях, когда передо мной обратного края фанатики, — я, думаешь, стесняюсь? Не стесняюсь и там, и насчет Чешкова неслучайно все.

Я почему тебя приемлю — со *всеми* твоими идеями? Ты — ищешь, ты человек совести, и потому — для меня — *где* б ты ни искал — все равно это опыт для всех нас.

А не приемлю — потенциальных «вождей литературы», которые больше всех знают и за всех готовы ответить. Я от вождей состоявшихся не знаю, куда деваться, а тут еще будущие! Отсюда — использую твоё парламентское выражение — и все мои *поступки*, в которых я не раскаиваюсь.

И по статье, и по письму, Игорь, с величайшим сочувствием ощущаю круг твоего теперешнего чтения, и круг раздумий твоих, и все его безвыходности. У меня-то ведь этих безвыходных вопросов, может, и еще больше, и, честно, я в них сам путаюсь. Мы — россияне, это крест наш. Но, прости, это опять не из области «металла».

Рад, что мы с тобой почувствовали друг друга, и поверь, мне хорошо оттого, как и что ты пишешь, а если выйдет так, что и друг против друга придется встать в литературном деле, — то дай Бог мне таких оппонентов, как ты.

Жму руку. Твой Лев Аннинский.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому

19.11.74.

Дорогой Лёва,

не знаю, что уж ты придумаешь с моим сочинением о Шукшине, но надежду так и не теряю. <...>

У нас тут смена идеологической власти. Новый редактор, новый секретарь по идеологии. Мой «покровитель» и «патрон» отправлен консулом в Пловдив, хотя полон сил и голова живая. Желая «обеспечить» себе «тылы», я решил «подать в писатели»¹, и здешняя братия, сообразив вдруг, что «добра» я делал больше, чем «зла», благословила сей поступок, дружно проголосовав «за». Как посмотрит Москва на все это, — не знаю, и уповать ли на давних моих рекомендателей Золотусского² и Кузнецова (Ф.)³ — не знаю. Что скажешь ты, мудрый человек?

А вот выписка из одного сочинения старого: не интересна ли? Это писала московская городская дума государю (1870 г.):

«Да, Государь, "Вашей воле", — скажем в заключение словами наших предков в ответе их первовенчанному предку Вашему в 1642 году, — "*Вашей воле* готовы мы служить и достоянием нашим, и кровью, а *наша мысль такова*».

Не очень храбро, но разве не достойно? Впрочем, достояния нет, а крови... — не чересчур ли будет? А?

М.б., что напишешь про все? <...> Игорь Д.

¹ Подал заявление о вступлении в Союз писателей СССР.

² Игорь Петрович Золотусский — литературный критик.

³ Феликс Феодосьевич Кузнецов — литературовед, в 1977—1987 годах — первый секретарь правления Московской писательской организации СП СССР.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову

1 декабря 1974 г.

Дорогой Дед! <...> Быть тебе в Союзе, никуда не денешься, а ведь жить-то потом все одно придется, и с редакторами тягаться — тоже. Но при прочих равных, в Союзе-то быть — легче, конечно. Из газеты, чувствую, уйдешь. А — на что кормиться? Ведь

проклятое это дело — минимум каждодневный, на что обедать и т.д. Я — боюсь уходить. Три дня, было, попробовал, в 1967 году, — посчитал, что гонораров по прежним цифрам должно хватить, — ну, вот, три дня жил вне штата. *Ни строки* не написал. Пропсиховал все 72 часа. Что фраза ни выплывет, с нею вместе мысль: «это не пройдет». Пошел опять служить — успокоился. 140 рублей ежемесячных мне нужны для наглости. Чтобы уговорить себя, будто я независим, с голоду семья не помрет, и писать могу, «что хочу». Тогда, наверное, и пишу, что надо.

Так и живу с тех пор: сверху — 140 рублей и гарантии, а снизу — весь прочий риск, и жизнь, и мысли.

Как ты верно привел Отцов города Отцу народов: «Готовы *служить... а мысль...*» — а мысль-то, как я понимаю, и была *такова*. Кровь же, Игорь, все одно — от судьбы, и хоть причащаться кровью не следует, но и высчитывать ее наперед не надо. Будто знаешь, где прольется? То ж не вампиры с праведниками тягаются, то ж народы с народами, и у каждого — права, и у каждого — дети, и каждый зачем-то богом создан, однако, «германцы с Запада, монголы с Востока», а и германцы люди, и монголы, и мы, однако...

Настроение у меня — дрянь. Книжку в «Современнике» задержали на стадии редакторской готовности. Четыре месяца ни слуху, ни духу. Я в интеллигентскую порядочность играю, а они ждали, видно, а вдруг само рассосется, и я исчезну, что ли. Но не рассосалось, не исчез — набрался отчаяния, позвонил Прокушеву¹, убедился: задержали по существу. А что четыре месяца псу под хвост — это ничего, это так... Все кругом шепчут: «Борись, борись». Да как бороться-то? Клязу в ЦК писать на них? Или, может, с дубиной на прием пойти? До чего я эдак «бороться» не люблю! Вся страна из «борцов» состоит. Все борются. А поесть прилично негде.

Ну, вот, и я тебе поплакался.

Гони, дед, визу на вставки про «Похмелье»². Поправь там, как сочтешь. И не горюй — образуется!

Счастливо тебе! Твой Л.Аннинский.

¹ Юрий Львович Прокушев — литературовед, с 1971 года возглавлял издательство «Современник».

² Роман Гранта Матевосяна.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
15.9.75.

Дорогой Лев,

написал я покаянное (за статью в «Н. совр.») письмо Лидии Абрамовне, а в ответ — ничего. Я же жду дальнейших указаний о латышах: кого и что читать. На работе ли она, здорова ли?

Свою статейку о Палиевском я кое-как дописал (полстраницы) и отослал. После ваших дебатов в «Вопр. Лит-ры» мое сочинение (во всяком случае, судя по первому черновику) выглядит чахло.

В моей статье в «Н. совр.» вписали Кожевникова и Ананьева¹. Меня в пот бросило, когда мне сказала жена; сам же я статью так и не перечел.

Как вы живете, на что надеетесь? <...> Игорь.

¹ Вадим Кожевников, Анатолий Ананьев — советские прозаики официозного толка. То, что называлось «генеральской прозой».

Лев Аннинский — Игорю Дедкову

20.09.75.

Дорогой Дед!

Что это ты, братец, загрустил? Дела наши идут хорошо, Феликс Кузнецов нам строит счастливое общество, мы в нем будем жить, а ты вдруг — с сомнениями? Письмо Лидии Абрамовне написал покаянное. Она мне — читать, а и говорю: и чего он кается? Чего объясняется? Ну, написал статью в «Наш современник» и написал, значит, *так*, и все тут. Вписали имена двух генералов — ну, вписали, жалко, но уж объясняться по этому случаю не след. Написал, не ваше дело! Либералы этот тон отлично воспринимают и даже, так сказать, уважают, а когда перед ними извиняются, вот тут они сразу рвутся учить морали.

И потом: мне показалось, что ты в том письме каешься, что недостаточно энергично с начальством борешься. Игорь, милый, я понимаю твои традиции, но думаю все ж, что равнина наша русская за неимением гор и прочных стен, а также за неимением крепости в душах, и склонности славян к мечтам — только на начальстве и держится. И ты начальство, и я немножко начальство, хотя оба мы начальствовать не хотим, ибо знаем, что не выдержим ответственности. Не надо бы ругать начальство, а? Лучшего не имеет Россия, не из чего ей сделать лучшее. Я иногда, грешным делом, читаю Кардина¹ или там Светова², а сам думаю: посадить бы тебя на *недельку* в кресло ПредСовМина, и посмотреть бы, как ты там станешь трубы да хлеб распределять. Потому что одно дело изящная словесность, а совсем другое дело — резать хлеб, ты не находишь? Особенно в стране, где никто не хочет резать хлеб, а все хотят придуриваться. Я в этих видах нашему начальству глубоко сочувствую и в меру *слабых* сил своих хочу ему помочь. Впрочем, может, Лидия Абрамовна не с тем выражением письмо твое прочла?

В «Дону» у меня — рад, что ты заметил — статья о Ланщикове³ и его боях с либералами. Лезу между кулаками. И накостыляли бы мне в хорошие времена, да теперь всем наплевать. Если прочтешь, и *явится*, — поделись.

<...>Ну, старик, кончай комплексовать! Крепкий критик от одной хорошей и плохой статьи не зависит. Чхай на всех!

Жму руку! Лев.

¹ Эмиль Кардин — литературный критик, публицист (либеральный лагерь).

² Феликс Светов — писатель, диссидент.

³ Анатолий Ланщиков — литературный критик, публицист (патриотический лагерь).

Игорь Дедков — Льву Аннинскому

9.11.75.

<...>А я-то думал, что ты в отпуске, и не писал тебе, хотя очень хотел сказать несколько слов о начальниках. Но прежде — как твои квартирные дела? Вышло, выходит ли что? Квартира, хотя и не крепость, но все ж таки дом, и лучше, когда он просторнее. <...>

А начальников ты жалеешь чересчур. Начальник — это звучит гордо. Это тебе не ассенизаторы, выволакивающие нечистоты. У них белые руки. (В этом месте ты скажешь: как у нас с тобой.) Я тоже уважаю их труд, но когда его не преувеличивают. К тому же ты помнишь, что сказал один югослав¹ про эту артель; в этом-то вся и беда.

Впрочем, у нас могут быть разные впечатления. По крайней мере, в житейском смысле мы размещаемся с тобой на разных горизонтах многослойного российского пирога.

А вообще все идет своим чередом. Только очень быстро. <...>

Прости уж мне это отчетливо утреннее письмо. Хотелось бы с тобой увидеться и поговорить, а то тут бывает одиноко.

Впрочем, тут как-то и легче. Особенно, когда возвращаешься из Москвы, с какого-нибудь большого заседания (с пленума Союза журналистов, например).

Так что же говорят эстландцы? Как нам быть? <...>

Всего самого доброго тебе и твоим близким. Привет от моей жены. Будьте все здоровы и — в новой квартире. Игорьь.

¹ Видимо, имеется в виду Милован Джилас — югославский политический деятель, автор книги «Новый класс», посвященной критике коммунизма.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову

14 ноября 1975 г.

Ну, Дед, и плеснул же ты мне на горячее своим письмом. Когда ты это читать будешь — уж решится, а в настоящий момент сижу я в ожидании имеющего состояться (скорее — сорваться) сегодня вечером собрания пайщиков жилкооператива, на котором должны затвердить (при кворуме) решение Правления об улучшении моих жил — условий.

У меня, ей-богу, руки чешутся — не очерк написать, и не жалобу, — а просто хронику моих и жены моей усилий за эти два года. Просто — хронометраж: сколько часов она отсидела в приемной Райсовета, пока ее приняли, выслушали и с нею *согласились*; сколько я ловил Рекемчука¹, который *прекрасно* ко мне отнесся и организовал звонок С.С.Смирнова² на «Мосфильм»; как в *два* приема я пробился к заместителю директора «Мосфильма», у которого на столе уже лежало письмо Кулиджанова³ (за которым я тоже таскал в Союз кинематографистов свои «лауреатские» бармы). Я хотел бы записать все те десятки телефонных разговоров, которые мы с женой провели вечерами, доказывая членам Правления свою нужду, описывая болезнь второй дочери из-за скученности, и как мы ночуем, и сколько ждем и т.д. Тут, в кабинетах, хоть можно было что-то рассказывать, объяснять, тут хоть читали бумажки. Но вот решение состоялось. Въезжать?! Шиш!! Извольте собирать общее собрание пайщиков. Их, правда, не собрать; им наплевать на все, кроме того, что лично их касается, но — ничего не поделаешь: Демократия.

Иду с обходным листом, зову на собрание. Приходит пятая часть. Теперь, по уставу, нужна еще одна попытка. *Второй раз* иду с обходным листом, зову: миленькие, придите. Дают подпись: осведомлены, а глазами смеются: да некогда нам, поди прочь! В одном месте незнакомая женщина мне крикнула: «Знаем, как вы квартиры получаете, небось, взятку дали!» (Мне ей хотелось сказать: мол, рад бы, да не берет никто, деньги подешевели! Хотел сказать: да, даю взятку, но не начальству, а вам, и не деньгами, а нервами!) Но — стоял и улыбался: ну, что вы, хорошая, вы приходите на собрание... В другой двери — пьяный пайщик; захлопнул передо мной дверь: «У меня именины!» В третьей стали стыдить: «Как вам не стыдно, ходите тут, уговариваете, это ж неприлично!» — Оказалось, в этой квартире живет человек, который два месяца назад развелся со своей третьей женой, и вот он *решил* претендовать на ту квартиру, что дают нам, и сегодня придет на собрание *кричать*.

Когда этот обход закончил, у меня было ощущение, что весь рот у меня дерьмом набит. Господи, я ж на 140 рублей зарплаты пошел — только *бы не просить* у них ничего, и вот дети мои гнут меня, и я иду, и из каждой второй двери прет равнодушие, зависть, злоба и уверенность, что я их всех хочу надуть.

Игорь, это что, начальники?! Начальники наши — дубы, долдоны, камни, но с ними хоть можно взаимодействовать; на почве *закона и прав* это неимоверно трудно, но можно (куда легче на почве связей и взаимных услуг, но чем я *им* услужу?) — так не потому ли они камни, что кругом — это болото, это жидкое дерьмо, в которое — хочешь не хочешь, а лезешь, потому что — демократия. Демократию придумали

народы логические, динамические, в которых человек толпы все равно действует, выбирает, решает... Но когда ходишь и умоляешь людей быть гражданами хоть вечерочек, а приходят несколько десятков (из двухсот) досужих, усталых, недоверчивых, замороченных, озлобленных пайщиков, которым *ничего не нужно*, только бы скорее: «Ну, чаво там, давай быстрее! А мы, чаво, хуже этого бородатого козла?! Ах, у него дети! А мы тут причем?!» — и стоит крик, и никто никого не слышит и не слушает, — так, ей-богу, Дед, хочу к начальнику. Пусть будет дуб. Пусть скажет «нет». Но это хоть какой-то ответ, решение, камень среди болота!

По народу и начальство, брат. Доброты своей боятся. Отсюда и начальство соответственное. Я потому это с легким сердцем говорю, что любить их, начальников, не любил никогда, сам понимаешь.

А в Таллине — зря ты не был! Славно проехались. Охота великокняжеская вышла отменная. Эстонцы принимали на госуровне. Даже неловко (про меня в отчете молодежная газета написала: он выступал не столько как галантный гость, сколько как острый критик; точнее сказать, немножечко понес хозяев за рационализм их прозы, но ничего, простили). Вершина диспута и поездки — финская баня. Это — фантастика. Рай. Другой раз не отменяй таких поездок.

Игоря Виноградова книжку не читал и не видел. Стало быть, издали? И Лакшин переиздал свой том о Толстом и Чехове. Привет мученикам от приспособленцев! А что, *надо* Игоря читать? Я сейчас два тома Константина Леонтьева проштудировал («Восток, Россия и славянство»), Ключевского «Историю сословий». Леонтьев спорен, изредка наивен, иногда прозорлив до потрясения и вызывает у меня огромное уважение. А Ключевский — еще и симпатию живейшую. А вообще я только — только из Шукшина вынырнул, опять *читать* начал (написал два опуса о Шушине по полтора листа, не знаю, что с ними будет) — ну, вот, читаю теперь взахлеб. Ухтомского по «Новому миру» помню, нравилось, а в «Природе» и в «Путях» — не попался. В «Воплях» интересные материалы, ты, наверное, видел: о Шестове Ерофеев, о Фете Кожинов, письма Рильке, Конецкий... Лакшина заметочка какая-то мелочная: кто первый сказал «э» про Островского... Да, у Лакшина, говорят, сын родился. Вот это дело!

Петрович⁴ пьет воды в Карлсбадах или еще где-то. А я уж в отпуск не попаду в этот год, по причине квартирной проблемы и все той же матушки нашей — Демократии.

Эстландцы говорят нам: вы, дураки, делайте у себя сексуальную революцию. А я говорю: у нас холодно! Они говорят: ну, тогда пустите секс в прозу. А я говорю: секс не интересует меня в пересказе. Они говорят: ох — хо, а вы ведете себя так, словно не приехали из-за железного занавеса... впрочем, это югославы говорили два года назад. Их бы сюда, к нашим пайщикам.

Твой Бакланов прошел у нас на ура. Гони Залыгина.

Обнимаю тебя! Твой Лев.

¹ Александр Евсеевич Рекемчук — прозаик, в эти годы член Правления СП СССР.

² Сергей Сергеевич Смирнов — прозаик, в 1975—1976 годах секретарь Правления СП СССР

³ Лев Александрович Кулиджанов — кинорежиссер, в 1965—1986 годах — первый секретарь Правления Союза кинематографистов СССР.

⁴ Игорь Петрович Золотусский.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому

3.2.76.

Дорогой Лев(а),

знаешь ли ты из-за чего пишу тебе, как-то вдруг, минутой назад совсем не собираясь этого делать?

Из-за Трифонова.

Его повести — горькое снадобье, и новая, вашего журнала¹, такая же — полон рот горечи.

К трифоновским повестям все были суровы, а он заслуживает признательности. «Дом на набережной» напоминает о некоторых ясных вещах, которые мы — единственно по слабости нашей, а не по уму, — стараемся обходить стороной и даже затуманивать. Последний абзац в повести лишний; может быть, кто-то и надеется на реставрацию, но в них ли — помеха жизни? Тут важнее, что написана гниль внутри ствола, здорового и могучего. Тут как бы указана цена этого могущества, его корни и корешки. Трифонов вышел своим путем — через якобы невнятный пересказ быта — на самое важное, и я тоже вспоминал свое, и в своем поколении узнавал их поколение и не понимал, почему это надо носить в себе, сгребать в темный угол и почему патриотические декламации важнее, нужнее, популярнее этой элементарной правды и честности?

Это и вправду был быт с таинственными недоговоренностями и невнятностями, с приливами озноба и страха. Счастье, что время наших поступков и решений началось после марта пятьдесят третьего. Наше мужество было испытано, но недостаточно.

Я понимаю, что ганчуки были сами хороши, это немудрено понять, и что всем постепенно воздается, тоже очевидно, но меня мутит иногда от той высоты, на которую поднимается ныне *авторитетная* мысль, слишком многое спокойно обозревая сверху, словно играя и прикидывая варианты на макете.

Самое трудное и мужественное занятие — ходить по земле; на днях мне доказывали, что декабристы нарушили (испортили) ход русской истории; такая смелая мысль — высокого полета — все-таки, на мой взгляд, дешева. Почувствовать правду можно, лишь забравшись в *ту* шкуру, в гвардейский мундир двадцать пятого года и студенческую тужурку восемьдесят первого. Трифонов предлагает нам припомнить, как дышалось и чувствовалось тогда-то и тогда-то, он заземляет наши рвущиеся в небеса мысли, и я ему благодарен. Как бы мы ни хотели, без полного нравственного расчета с прошлым, далеко мы не уйдем. А если и уйдем, то все равно — вернемся, чтобы только потом уйти на самом деле.

Прости меня за эти рассужденья. Сам не ожидал. И повод смутен, и цель смутна. Но Львы мудры?

<...>Да, у меня предстоит событие: разумно или нет, но службу я бросаю. Восемнадцать с половиной лет я тщился быть полезным этому месту и местному обществу. О пользе я не забуду и впредь, но попробую пожить иначе. По-старому больше не могу. Вот какие дела.

<...>Письмо ночное, смутное, извини. Всего самого доброго. Игорь Д.

¹ Повесть Юрия Трифонова «Дом на набережной» была опубликована в номере «Дружбы народов» за 1976 год.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову

13 марта 1976 г.

Дорогой Дед!

Все-таки я боюсь писать тебе про Трифонова — пишу о нем сейчас нечто для печати; ежели выйдет и выйдет — прочтешь, ежели выйдет, но не выйдет — дам почитать. А боюсь — из эгоизма: выплеснется, не соберу. Хотя — поговорить о нем хочется.

Ты пишешь: «суровы — де были к Трифонову, а он заслуживает признательности». Моя признательность — в факте суровости. Есть классики, которых не читаю и о которых не пишу. Никакой суровости, никакого и интереса. А тут — чего стыдиться? Трифонов — замечательный писатель, земной, органичный, безжалостный и тяжкий

по сути своей; но боль его — о высоком, и потому он — в лицевом счете нашего духа к самим себе, и потому с него спрос. А что высокое у него на одну полку со столоверчением попадает — это как? За это тоже — признательность?

Впрочем, чего там — и «Другая жизнь», и особенно «Дом на набережной» — потрясли меня, взволновали, растравили все во мне. Спора у меня тут с ним не будет. Потому что фарисейство «Обмена» он преодолел. Исторг и подавил в себе. Нынешнее исповедание его — поразительно. С нами же и прозревает. Признательностью за это не расплатишься. Это ценнее.

Что до «Дома», то вот завидую Чуковскому XXI века, который напишет «Тайнопись Юрия Трифонова», как Корней написал «Тайнопись Василия Слепцова» — это ж один лейтмотив *высоты* чего стоит, тобой замеченный, *макет* с балкона сотого этажа (в 1938 году номенклатурные, ожидая звонка в дверь, бросались вниз с балконов — три факта было). Так и тянет социо-анализ произвести.

Пишешь: мутит, мол, от такой высоты. Хочешь в ту шкуру? В гвардейский мундир 1825 года? В студенческую тужурку 1881-го? Честное дело! А — в мундир Милорадовича, бородинского героя, — не хочешь? В шинель Александра II, воспитанного Жуковским, — не хочешь? Когда тот, держась за полы, зигзагами от Соловьева по площади бегал, а этот стрелял, целясь? Во мне нет одностороннего сочувствия, Дед! Один мой дядя белый, другой красный! Я не хочу стрельбы в России! Я между ними лягу, и пусть меня зовут христосиком. А если завяжут так, что окажусь по одну сторону, — то пусть и завяжут, и будет трагедия и боль, но никакого торжества и злорадства, понимаешь? Я не сужу декабристов, но чувство мое близко Эйдельмановскому: не отменишь попытки, не отменишь краха, — так иди! — только не пыжься спасителем отечества, а лучше зажмись. «Почто, мой друг, почто слеза катится?» — вот это!

Трифонова я — не судил. Скорей другое: я им из себя же выталкивал фарисейство. Никогда я не был лучше других, умнее, честнее. Просто всегда надеялся, что у меня чуть раньше и чуть острее болит. Так же и то же, что у всех. Но чуть раньше. А чтоб я больше знал, чем распоследний, который в тужурке или в мундире, — нет.

Ладно. Приезжай — погугарим. Читаешь ли книгу Черниченко?¹ Жму руку! И как это ты не боишься без службы!

Твой Лев.

¹ Юрий Черниченко — публицист, в 1976 году вышла его книга «Яровой клин».

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
14.4.76.

Дорогой Лев,

пишу тебе через месяц, прости, — не писались письма, кроме деловых, а на твое без настроения не ответишь. Ты хорошо мне отписал, с душой, пронзил меня, спасибо тебе, но мы-то все одно договоримся, какой из меня стрелок, но и ты — «христосик» ли (отчего тогда перо — *твердое?*), другая наша судьба, не крайняя, но срединная: «вернее труд и постоянство».

Прекрасная истина, бесконечным опытом обеспечена, но отчего среди ночи вдруг грезишь по-детски полным *расчетом*, без адских сковородок и угольев, совестным судом? И хочется приближать его, и дожить даже. Я знаю, что это — это конченный, наивный человек действия силится поднять голову, и я говорю ему: «угомонись наконец». «Займись-ка лучше организацией круговой обороны, — говорю я ему, — «наш дом — наша крепость»». «И окна мешками с песком заложив, расслышишь свободы наивный мотив». И он таскает, и громоздит, и укрепляет постоянство. И — горбься над столом.

Лишь жизнь спасает наши души — ручьи, небо, детишки, воздух апреля, вытаявшая трава, угол старого двора с поленницей и скамейкой и долгой, сырой нашей

бедностью, — ходишь, видишь, слышишь — вот и хорошо, и ходи, и слушай, и смотри, возвращайся.

А тебя Трифонов растревожил, потому что ты ходишь, и видишь, и говоришь, и возвращаешься, и все-все помнишь, и все-все рассуживая, оставляешь на доньшке то, что не поддается никак, а он напоминает, что оно там и есть, на своем месте, не исчезло и болеть ему долго, на наш век хватит. И меня потому же растревожил, и многих других.

Ты вот говоришь: меж ними лягу. А там так тесно бывает, когда злоба на злобу, ненависть на ненависть, что и не протиснешься. Да и вряд ли на нашем веку возникнет такая надобность.

Похоже, что наше занятие — толкать вагон, к которому не прицеплен паровоз. И на ровном участке.

А Черниченко я не читал. Про «яровой клин», кажется, так? Надо, да?

Без службы я боюсь, потому что служил всегда, но как-нибудь проживем, потому что другого боюсь еще больше, да и, как писал Шукшин, бывает, что человеку «все остолбенело». Возможностей своих я не переоцениваю, но вот верю пока, что продержусь, а там видно будет.

Жаль, тебя не застал, когда заезжал, то есть заходил в вашу редакцию. Не знаю, как там судьба моего сочинения о латышских мужчинах во цвете лет. Не собираетесь ли вы писать о посмертной уже книжке К.Воробьева, вышедшей в Вильнюсе, чтоб вспомнить человека?

Хорошо, что весна. Слава Богу, оттаем. Немножечко.

Будь здоров. Всего тебе и семье твоей доброго.

Игорь Д.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
24.10.76.

Дорогой Лев, хотел написать тебе еще в конце августа, когда ты уверенной рукой разделил несчастных человек на три подвиды: особи, индивиды и личности. Это было проделано не без блеска, но довольно жестко, а в целом статья была завершена ясно, твердо и хорошо. Я с удовольствием читал из нее однажды публике, занятой воспитанием индивидов. Публика помаргивала.

А если серьезно, то я подумал, что вот напишу тебе — без дела и повода — во имя связи. Чем дальше, тем больше выучиваешься ее ценить, тем более, здесь. <...>

Время какое-то ускользающее, цепляешься, пытаешься притормозить, а оно тащит и волокет. А так дорог теперь каждый час, потому что это мой час, а он летит. Сижусь за столом и оглядываюсь на часы. Знаешь, я тоже любил службу, хотя и ругал ее. Читая Гоголя, его похвалу службе на благо отечества, я получал поддержку, но всему, выходит, есть свой предел; может быть, и служба изменилась.

Удивительный сейчас быт, даже невероятный; я не про домашний, а скорее про городской, учрежденческий, магазинный, уличный, межучрежденческий; я говорю жене: записывай, записывай все, все пустяки, фразы, забудем же все. Не слушается, некогда. Записывает ли кто? Этого быта почти нет в литературе (чуть-чуть в баклановских «Друзьях», у Трифонова), нет в газетах, нигде, а в нем, может быть, лучшая характеристика наших семидесятых.

А как твои дела? Ты как-то тихо себя ведешь. Тебя, как всегда, охотно хвалят и охотно ругают. Не собираешься ли дать им еще один повод? Или ты занялся Помяловским или еще чем-нибудь серьезным и презрел лит[ературный] процесс?

<...>Как твоя новая должность? Состоялась ли, началась ли? Поддержал бы ты Володю Леоновича, поэта, переводчика с грузинского (Г.Табидзе, О.Челидзе, Ш.Нишнианидзе и др). Я пытался это сделать, написал о «Магнитном поле»¹ Челидзе в его переводе, да в «ЛО» статья застряла (год издания давний), ждет там теперь повода. А поэт он — Леонович — хороший, хотя Вознесенский его как бы не знает, хотя бы как «интересного»...

Читал ли ты у Распутина в «Матёре» про кладбище? Остальное — замедленно, описательно, и автор старушкам за суфлера. А может, мне показалось.

А Белов в «ДН» в худшей из своих ролей: обличителя «физиков», «интеллектуалов» и проч. Или это российская привычка: прежде всего — «размежеваться»?

Ладно, прости, что расписался.

<...>Привет тебе от Тамары². Наш привет и самые добрые пожелания Шуре³. Будьте здоровы. Всего тебе доброго. Игорь.

¹ Поэма Отара Челидзе «Моё магнитное поле».

² Тамара Фёдоровна Дедкова — жена Игоря Дедкова, журналист.

³ Александра Николаевна Аннинская — жена Льва Аннинского, филолог.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
20 ноября 1976.

Дорогой Дед, ты прости меня, что не сразу отвечаю на твое прекрасное письмо, и ты верно угадал: *заялся я, заялся*, только не Помяловским, а хуже. Но — погоди, я тебе сперва кое на что отвечу.

Что ты «Комсомолку» педагогам читал — тронуло меня, а вот если и им толковал так, будто я людей на три подвида делю, то это нехорошо. Ибо все три разряда: особь — индивид — личность суть в каждом из нас, только особь на уровне гениталий, индивид на уровне башки, а личность — это связь с Богом в каждом из нас. В *каждом* — иначе так все и проморгаешь, как те педагоги.

Смотрю, что-то ты беспокоишься без службы. Час летит, ты боишься. Вот я так же: как-то раз, переходя со службы на службу, притормозил (вернее, притормозили меня), и *три дня* без службы сидел. Ни слова написать не мог — било меня. И эдак не пройдет, и эдак не напечатают, и перо осело, и мандраж оттого, что осело, а время летит. Не писать — можно, а есть — нельзя. Вот я и служу — мне так спокойнее: обеды есть, а в остальном — все мое. Богово.

Мне теперь полегче стало на службе. Сам себе отдел¹, сам работаю, сам отвечаю, сам за собой слежу, самому себе докладываю. Леоновича, например, готовлю статью. Интересный человек, по-моему, ранимый очень, оттого и бодрится. А Вознесенский — неинтересный стал, мне, по крайней мере. Все эти жесты его в статье — чистая политика, причем мелкая. Кузнецова боится, на Губанова² надеется, на Леоновиче престиж восстанавливает. Прошло евонное время. Может, оно и наше.

Ничего не читаю теперь, ни «Матёры», ни Беловских комплексов. Дали мне наконец договор, и ушел я в Толстого³, и ничего-никого мне не надо. Сижу в Музее, листаю собственноручные Софьи Андреевны записи, трепещу, счастлив. Литпроцесс совершенно презрел, это ты точно уловил. Да разве можно с этим стариком что-нибудь совместить! Это ж черт, а не человек! Воронка какая-то! Целую *библиотеку* прочел, а все боюсь, все еще, еще причитываю — ужасный старик, ревнивый, непостижимый, так и цепляет, и все что-то еще держит там, в бороде, то ли хитрость, то ли тайну, никак не отважусь сказать себе: ну, все, я его *знаю*: можно писать. Все он во мне собой вытеснил, и понимаю, отчего вокруг него было так, словно целые толпы, и все — ниц, все — пришибленные им, и боялись его, и куда ни шли — за него задевали.

Ну, а другая половина моей задачи — киношники. Это народ простецкий. С ними я на ты. «Толстовский экран» — книга называется. Мухи на солнце. И греются, и пятнышки не видны — рядом с его протуберанцами. И жалко мух — тоже твари живые, и не виноваты.

Был такой эпизод: к Толстому приехал артист Орленев, по-моему, фанфарон и пьяница. Он был Толстому нужен, потому что играл бесплатно в бараках — старику что-то тут почудилось, и он Черткову сказал: позовите его. А Чертков Орленева знал еще по Лондонским русским колониям всяких немощных. Пошел звать. Орленев —

ломаться (к Толстому никто не мог пойти просто: или ползти подобострастно, или — из гордости — кочевряжиться, могли и обидеть — от обиды за себя). Вот Орленев такой был. Но, поломавшись, поехал. Остановился у Черткова. Подали на стол картоху на постном масле, и никаких градусов. Орленев так не привык — возмутился, но виду не подал. Покушали, Чертков ему говорит: «Отдохните пока», — и дает пару книжечек графа. Одна из них оказалась — о вреде пьянства. Орленев ее, конечно, отшвырнул с негодованием — он в пьянстве ничего вредного не находил. Попробовал спать — не получается: огромное количество мух в комнате, и все пристают. Взял тут Орленев книжицу графа Льва Николаевича и давай ею мух шлепать. Чертков снизу спешит — шлепки услышал:

— Что такое? Или что беспокоит?

Конечно, книжку Толстого из рук Орленева извлекает и мягко так внушает ему, что это нехорошо.

Отчего ж нехорошо?

— А мы, — говорит, — злу насилием не противимся и мух не бьем.

Ну, вот, я уже почти толстовец. Так проникся.

Еще раз спасибо тебе за доброе письмо. Привет Тамаре. Будете в Москве — свидимся.

В мой новый отдел написать — не хочешь? Рецензия на перевод, и чем злее, тем лучше.

Ну, бывай! Л.А.

¹ В 1976 году Лев Аннинский стал в «ДН» заведующим вновь созданного отдела перевода.

² Леонид Губанов — поэт, создатель неофициального литературного объединения СМОГ.

³ Работа над книгой о Льве Толстом и кинематографе.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому

1 мая 1977.

Дорогой Лев,

со всеми праздниками мая!

Про Ганчука¹ ты написал, — выразился! — прекрасно («плевать ему на концепции»... и т.д.), но схему этим двум повестям ты все-таки навязал. Впрочем, я понял: жизнь все перемальвает, изживает, и выжившие сходятся на признании простого факта: жить хорошо — т.е. ходить, есть, пить, смотреть телевизор. Тут есть правда, я не спорю. И все-таки к Глебову авторское отношение определенное, хотя и не однозначное. Тут ты немного надавливаешь коленом. А впрочем, это не имеет никакого отношения к поводу открытки!

Вот весна, можно ходить, смотреть, сидеть за столом, разговаривать с сыновьями или дочками, и т.д. — вот и славно.

Хорошо, что это есть и возможно, — с этим тебя и поздравляю. У живых всегда есть преимущество.

У нас праздник: каждому взрослому (дети не в счет) дают по две банки свиной тушенки и по полкило краковской колбасы.

Скоро Москва станет абсурдным городом. Или уже стала. Голова, оторвавшаяся от тела. А может быть, и не голова. И совсем не оторвалась. Впрочем, это тоже не относится к теме. И к москвичам.

Всего доброго и тебе, и Шуре, и вашим детям!

Будьте здоровы! Привет вам от Тамары.

Жаль, вот тебя вижу редко — с тобой хорошо разговаривать — на соседних волнах, что ли, «работаем». Или мне так кажется.

Игорь Д.

¹ Ганчук и Глебов — герои повести «Дом на набережной» Юрия Трифонова.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову

5 мая 1977 г.

Дорогой Дед!

Спасибо за теплые слова, и что статью о Трифонове заметил. Конечно, нажимаю коленом. Конечно, навязываю схему. Между нами говоря, мне только эта схема моя и нужна там. А Трифонов — *свою* задачу выполняет, и пусть. У нас истории нет, всякий новый Иоанн прежнего корчует — я с этим не могу примириться. Пусть горькая, но будет. Сталин *был*, и это *мы* его такого сделали, отцы наши, нечего теперь пинать его и все на него валить. А что Трифонов про своего Глебова думает — отчего это меня должно заботить? Пусть думает, что угодно. Ты ж чувствуешь, в чем там дело — в том, как взаимоненавистно, взаимозавистливо живем. Страшно про это думать. Вчера в «Комсомолке» очерк о палаче Львовского Шталага 1941 — 44 годов — Андрей Якушев такой, беспримесный, свой человек. Что меня потрясло: с августа 41 года немцы, боясь заразы, в лагерь перестали заходить, и в течение нескольких месяцев ни одного немца в лагере не было. А мясорубка уничтожения продолжалась. *Кто* это все делал? В Бабьем Яре лежал, говорят, один немец — пулеметчик. *Кто* все остальное делал? Откуда, входя в город, немцы в первый день знали списки комиссаров и прочих? Им эти списки *приносили*. *Кто?*

Страшно думать, что мы и теперь так живем. Истории у нас нет. Злоба, зависть полуподавленная. Абсурдный город — ты прав. Вавилон ирреальный. Две банки тушенки к празднику — господи, треть века не воюем, прокормиться не можем. Я сейчас на майские праздники в поход сходил под Брянск — ощущение пустой земли и полного равнодушия всех ко всем. Войди кто — списки понесут. Как при всем этом с живыми людьми говорить? Живите, люди, ходите по земле, говорите с сыновьями и дочерьми, смотрите телевизор — это все эфемерно, а реальна — кровавая бездна в ваших душах и ненависть ваша от слабости душевной к любому мимоидущему. Господи, как вернуть людей к труду и строю духа от такого перманентного праздника, от такого гулянья бесконечного, от скользящей лукавой лени, оттого, что на собственном прошлом вымещаем собственные же слабости.

Прости, что-то ты задел во мне письмом.

С праздниками всех вас в семействе!

Честно сказать, бегаю я от этих праздников из Москвы. Мне праздник — это когда дают работать. Увы, иногда заставляют праздновать. Вчера молока не мог купить: «что вы, не завезли, на заводах люди праздновали, вы же тоже должны понимать, люди не машины!»

И ведь тоже верно!

Ну, вот еще день Радио, День Печати, день Поминовения (единственный реальный для меня *день*, но — не праздник, а точка боли непроходящей) — и вернемся к делам, и славно.

Говорил ли я тебе, что ты хорошо про Распутина написал — с достоинством, и вытащил суть?

Ну, жму руку! Твой Лев.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому

23.5.77.

Дорогой Лев,

это даже неплохо, что я растревожил тебя своим письмом. Зато ты написал несколько энергичных слов, и я их с удовольствием прочел. Все-таки я чаще соглашаюсь с тобой, чем думаю поперек. Вероятно, у нас сейчас есть что-то схожее в отношении к жизни, к тому, что называют ее «ценностями»; может быть, к Дому. Хотя терпимости в тебе больше, чем во мне.

«Мы живы — значит мы виноваты». Есть такие слова у О.Челидзе в «Магнитном поле», — во всяком случае, они есть в переводе В.Леоновича. (Кстати, статья В.Леоновича, по-моему, ясно говорит о значительности его таланта и человеческом достоинстве.) Так вот: живы — значит виноваты. Это верно. Но менее верно то, что ты пишешь. Когда говорят, что виноваты в том-то и в том-то *все*, то это очень выгодно тем, кто виноват больше других. Причем, много больше. Поэтому не мешает отдать им должное. Проскурин описывает в новом романе («Москва», №2), как Сталин слушает «Пиковую даму». Я хотел написать, что мне это неинтересно. Неправда. Но это раздражает, угнетает, втягивает в пучину мнимого и безнравственного. Хорошо еще, что текст выдает свою несостоятельность. Помнишь Сураза¹, которому вдруг понадобилась учительница? И которого мы должны пожалеть? Большой разницы я не вижу. Сураз хоть своим главным делом занят; у него и фальши нет ни в чем; фальшь в отношении к нему.

<...>Как твой Толстой? Хорошо ли идет?

Видишь, какие вы молодцы — поход, Брянск, походили, поглядели, послушали.

А я вот только по воскресеньям в футбол хожу играть с приятелем и сыном. И более ничего. Никуда. Ни к кому. Как лежачий камень. Даже на двадцатилетие курса не ездил. Но от такой жизни я пока не страдаю. Хотя вред, должно быть, есть.

<...>А вообще-то все лето я буду писать о Быкове² — подрядился написать десять листов, вот и буду этим заниматься.

Ты бы, вы бы с Шурой лучше поход в Кострому совершили — ничем Брянска не хуже, и, наверное, ближе. На Волге бы посидели... <...>

¹ Герой одноименного рассказа Василия Шукшина.

² Василь Быков — белорусский прозаик.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
9 января 1978

Дорогой Дед, спасибо тебе за теплое письмо и новогодние чувства; прими и мои; я что-то последние годы бросил рассылать открытки; устал; но о тебе думаю все время; желаю дому твоему крепости, тебе трудов, книге твоей — выйти.

<...>Вообще, только идиот будет судить о нас по книгам. Книги суть произведения не авторов, а издателей. Я что-то уже в стадии полного равнодушия к моим книгам. В Минске вон вышла — стыд. Десять лет нигде выйти не могла; писалась для «Искусства» в 1968, кончалась «Андреем Рублевым» и «Асиным счастьем» — вот в ту пору бы ей и выйти. Теперь — попала рукопись в Минск; пять лет мои сторонники там ее, как мяч футбольный в ворота закатывали, через сто защитников; Госкомиздат эту книгу заворачивал — и его обвели. За каждую букву дрались: на уровне редакции. Потом пошло на стол к директору — и тот повыкинул через абзац; мне даже не сообщали: директор есть директор, это стихия, и в его кабинете не спорят. Ну, что, забирать ее было, книгу-то? После того, как редактор ее, Гриша Трестман, пять лет на штрафной площадке виртуозничал? Я Гришу спрашиваю: «Зачем вы так за нее дрались?» — «Текст понравился». — «Вы меня раньше читали?» — «Нет». — «Вы "Ядро ореха", может, читали?» — «Нет, а что это такое?»

Согласись, Дед, после такого можно возблагодарить судьбу. Чтобы малый следующего поколения, сорок седьмого года рождения, найдя текст в столе редактора, снятого до того, — в числе прочих грехов и за то, что пытался толкать этот мой текст в производство, — прочтя, начал многоходовую операцию, чтобы пять лет спустя забить-таки этот гол в ворота минского профтехиздата, — ну, как я после этого буду обижаться, что директор через абзац повыбросил, и мои десятилетней давности эмоции читаются теперь странно?

Единственно — дарить ее избегаю. Петровичу вон не выдержал — подарил, расслабившись, а он, дурной, читать начал; потом прочел мне мораль, совершенно справедливо.

Поневоле руки опустятся: а, черт с ним, вышла и вышла, все равно не перешибешь.

Я вообще думаю вот о чем. Никуда все это за пределы нашей импотенции не выйдет — даже если и издать во всей красе. Тут ведь не наши мышинные движения решают, а — куда валится по крупной. Есть эпохи — каждый чих на учете. А есть — о которых в будущем вряд ли вспомнит кто. Много мы знаем о ранних Романовых — а ведь и там, наверное, интеллектуалы перед дураками исхитрялись! А про эллинизм — знаем ли? Мы про Перикла знаем: как там кто почесался. А ведь были вокруг страны и века — и все кануло. А тоже, наверное, думали там люди: наши потомки *разберутся!* А потомкам — не до них стало. Потомки эти — к своим потомкам взывали. Вот так и с нами будет. Со всеми нашими сочинениями. Чуть лучше, чуть хуже — все ляжет пластом удобрений. Ни то, ни се времечко. Ни веры, ни неверия настоящего. Расползлись и дышат — что с них возьмешь, чему у них научишься? Никто разбираться не станет. Одно и остается — *для себя* продолжать.

Ну, я и продолжаю. «Толстовский экран» сдал в конце декабря, 1977 годом — думал отдохну; нет, еще куча заказов мелких, и все надо, и все срочно. Как водка.

О водке. «Современник» поставил по Ветемаа «Монумент». Сухо, холодно, жестко, с «политикой». Странное ощущение. Словно сидим мы, лет уже десять, тепленькие, винцо попиваем, друг друга понимать и любить учимся, расслабившись, расправившись. Вдруг открывается этот эстонский холодильник, и оттуда — в запотевших фужерах — дают тебе ледяного рассола. Хлопнул, захолонуло, протрезвел; сидишь — голова прояснела; кругом сволочи, и ты это вдруг вспомнил; думаешь: и какого черта охуался — как было славно!

Еще из новостей эпохальных — дискуссия «Классика и мы». Большой зал ЦДЛ, доклад Палиевского, призвавшего в крестовый поход на авангардистов. Речь Куняева о том, как Багрицкий презирал русского мужика. Истерика Эфроса, дух погрома, орущий на разные голоса тысячеротый зал, бессилие левых, Феликс Кузнецов в пароксизме. Назавтра — слухи, что у славянофилов неприятности. Им это только и надо: попали, наконец, в мученики. Палиевский, говорят, доволен: смотр сил удался на славу, левые напуганы до смерти, им драться нечем: ни одной живой идеи.

Не горюй, Дед, все там будем!

Ну, счастливо тебе! Рад, что пообщался с тобой. Привет от моих твоим! Жму руку. Лев.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому

15.4.78.

Дорогой Лев,

Когда-то я ничего не ответил на твое письмо. Наверное, ты там не ошибся; пощады от будущего ждать нечего. Но будущее будет без нас, а мы живем сегодня, и ты вот жаждешь беллетризма и бросил им кость, и все теперь грызут, и кто-то возжаждал «социальной правды», и жаждать ее дозволяется, — вот где свобода. А нам все ее мало, хотя жаждать можно чего угодно.

Не писал же я ничего никому, потому что дописывал о Быкове, и ничего больше душа не вмещала. Теперь вот отправил, и думаю, что надо бы все написать иначе, по другому счету... Бывают такие минуты, когда жаждешь черт знает чего.

Как-то зашел здешний театральный режиссер и говорит, что в ГИТИСе попал на лекцию Аннинского. Дескать, он всех ругал графоманами, особенно поэтов. Как же, как же, — подхватил я — это Лёва (со значением!), он может! Он просто договаривает до конца то, о чем другие только догадываются...

Так вот он сказал, этот режиссер, что ты поставил «Старика» выше «Дома на набережной».

А я «Старика» прочел только сегодня. В нашу деревню «Дружба народов» в розницу не поступает вовсе. А я, дурак, не выписал. (Нет ли в недрах вашей редакции лишнего журнала? Я в ваш отдел критики не обращаюсь — они на меня сердиты!)

Пока читал — душа болела, да и сейчас еще не прошло. М.б., лучшее в повести то, что на стыке времен, да и вообще для всего нынешнего там фон хорош. Даже не фон это, а почва, из которой росло и выросло это время «прохлады». Не хочется все это разывать, но как ни страшна там гражданская, не в ней новость и открытие, а в смешении. Из смешения — вся боль. Так оно и есть: чуть-чуть разрой то, по чему ходим, — газоны, цветники, асфальт, — а там зола и пепел, и все еще теплые.

Намеренность там тоже есть, и очерчен круг, за который мысль не выходит, — при помощи Ленина очерчен. Но намеренность эта оправдана через старика, хотя и не всегда, — оправдана.

Вот и разберись, что важнее для жизни и литературы: носовские шлемоносцы (говоря о них, ты чуть-чуть слукавил: интонация тебя выдала), распутинские старухи или трифоновские герои? Разумный ответ: все нужно и важно. Но Трифонов время от времени напоминает о том, какая у нас распространилась искусственная литература, какая слабодушная и благонамеренная. Какая она литературная эта литература! Он напоминает, над какими безднами ходим.

Лев, дорогой, что такое «духовность»? Ты заметил, как годится теперь всем это слово. Как оно пошло по рукам. Вот и этот Уляшов¹ говорит, что «духовность» у Овечкина² не «выстроилась», а понимает под духовностью литературную изощренность. Пустое какое-то слово. Тебя-то я понимаю; слово не виновато. А наши-то, временные, теперь прямо-таки поощряют занятия «вечным», потому что им, временным, так спокойнее: жили, живут, и нас переживут. Важно, чтоб их не трогали, за версту объезжали. На этот счет (о соотношении временного и вечного) хорошо сказал тридцать лет назад Сартр (новый сб. «Писатели Франции о литературе»).

Слушай, кто у Трифонова прототип Мигулина — Миронов, Думенко? — не успел еще свериться. Впрочем, не в этом дело.

Трифоновский старик напрасно так худо думает о «среднем поколении», да и о молодом — тоже. Да и сам Трифонов, судя по прежним вещам, думает похоже. Здоровые силы никуда все-таки не исчезают, они есть. Просто вокруг старика *такой* вырос сад. Прочем, этот сад, и правда, велик. Да и в здоровье — сколько нездоровья...

В надежде, что твои дела идут хорошо и дома у тебя все в порядке, в надежде, что ты в отместку не будешь молчать подобно мне, в надежде повидать тебя в этом году, Игорь Д.

Наши самые добрые пожелания Шуре и всем твоим близким. Будь здоров. И.Д.

¹ Павел Уляшов — литературный критик.

² Валентин Овечкин — автор «новомирского» цикла очерков «Районные будни».

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
21.04.78.

Дорогой Дед, ты пишешь мне прекрасные письма, и не ставь себе, пожалуйста, сроков — мы ж не девицы, а в письме твоём последнем почти на каждую фразу мне хочется отвечать.

Не знаю, выше «Старик» «Дома на набережной» или ниже — в этой геометрии Феликс Кузнецов лучше меня разбирается, а внутреннее ощущение от «Старика» у меня очень родственно твоему. Конечно, над безднами веселимся, и там, под ногами — зола и пепел. Вот — Миронова вспомнили (это Миронов, ты верно угадал). Вот теперь

в «незабываемый 1919-й» обернулись. И тут главное — не умилиться. Потому что под забываемым — еще столько *забытого*, а ведь и там — пепел, и там люди корчились. Умершие в 1812-м не виноваты, что их заслонили трупы 1941 года, а ведь и в 1612-м — тоже кровавыми слезами умывались — это уж и вовсе «история». Вот как с этим примириться — что ужас на ужас, и все истории под хвост — пергаментными «сведениями», а копнешь — и в бездну... Прямо хоть за Фёдорова¹ хватайся, ну, да он у меня давно в голове занозой сидит — как перед отцами — дедами оправдаться, и как за них оправдаться? Человек-то все-таки зверь — *его* ж полюбить надо, не ангела.

И еще в «Старике» меня за живое взяли — казачье — еврейские антагонизмы. Ты еврейскую половину почувствовал? Ее подчистить пришлось, а я читал первоизданный текст. Мой случай — эти самые антагонизмы. У меня под коркой.

Номер — ну, никак уже не достанешь: шесть штук раздал, теперь уже поздно. Если что выпрыгнет — ты на первой очереди.

Насчет «Шлемоносцев»² — интонация *выдала* меня, говоришь? Наверное. Но я ничего и не хотел скрывать, и интонация — главный мой инструмент. Пусть выдает, я рад, что так. А вот «беллетристику» — не спасла и интонация. Действительно, как на кость кинулись. Письма идут: правда ли, что Вам нужна беллетристика?! Ну, черт с ними — повесил красную тряпку, пусть треплют. Теперь так, Дед, что Феликс берет в подруги духовность, а мы с тобой давай беллетристику подхватим. Ее ежели отмыть, так ведь с ней еще жить можно (по анекдоту про бабу, которая спасла утопленника). Еще увидишь, как они эту нашу, отмытую, чистенькую, — хватать будут. Когда «духовность» опоганят окончательно и бросят. Это ничего. Разделение труда. Одни будут слова захватывать, другие — отчищать (захватанные — от следов). Я не в обиде — у меня этого скипидару в душе много.

Так твое молчание (в письмах и в прессе) — оно быковское? Для «Современника»? Благодетели мои — издали мне книжку о десяти опечатках. Смотри, гляди в оба — заласкают насмерть. <...>

Интересная реакция у твоего режиссера на мою лекцию: ругал графоманами! Да я так любя, так благодушно все! И на наших временных — без всякого раздражения. Пусть сидят, голубчики, они мне не мешают, у них работа тяжелая, я во временные не хочу. Только, Игорь, где твои здоровые-то силы, которые «не исчезают»? Не прозевать бы. Что-то я их плохо вижу. Хотя верю, что они где-то есть. Это ты прав.

Лучшие семейные приветы! <...> В Щельково с лекциями в июле — поедем, а? На неделю? (Если позовут.) Л.А.

¹ Философ Николай Фёдоров.

² Имеется в виду повесть «Усвятские шлемоносцы» Евгения Носова.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
9.7.80

Дорогой Дед, какую пронзительно точную статью ты написал об Адамовиче! Философская боль, умное сердце, — боль *родственной* связи. Удивительно. Мне это так не удалось — о Козько² в «Немане» — а ты сказал как раз про то, *что* увлекаемо для нас из этой безнадежно горькой повести. Рад за тебя.

Твой Лев Аннинский

¹ Алесь Адамович — белорусский прозаик, литературный критик.

² Виктор Козько — белорусский прозаик.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому

18.7.80

Дорогой Лев,
спасибо тебе от Деда, растроганного твоей открыткой.

Я опять подумал о тебе, что тебе в мире, в литературе — не тесно. Многим тесно, а тебе — нет, поэтому ты добр и сохраняешь интерес к другим, к другой мысли. Это черта крупного человека. Это моя тебе лесть! Вот так.

Надо же, сидим в разных углах, а думаем об одном. Можно даже сказать: мучаемся одним. В одних и тех же сумрачных закоулках блуждаем. Ты писал о Козько, я — о детях на войне (Быков, Богомолов) для «Дет<ской> Лит<ерату>ры» (№ 5), а потом о «Карателях» <Алеся Адамовича>. Одна и та же всюду неразрешимость. И оба упираемся в нее, и оба — про ту слезинку.

Лёва, вот беда, вот несчастье: на нашем веку конца нет и не будет «карусели»: «всех несет»... И Сотников¹ встает. Он отказывается жить на предложенных условиях. А карусель продолжается. Она вертится. Как уберечь наших детей? Ты откажешься, я откажусь. Она и не вздрогнет, та карусель. А все равно — надо отказываться.

Ты верно написал: пусть *оттуда* придет прощение. Помнишь, у Трифонова старик Летунов говорит о себе с женой: «Мы были счастливы». Я тогда подумал: а что сказали бы Мигулины. Какие бы слова донеслись оттуда? Я об этом написал, да не сумел напечатать. Я читал тебя и думал, радуясь: вот сошлись, совпали. А почти не видимся, не разговариваем почти, на разных берегах Волги, как ты написал однажды...

Насчет «входного билета». Кто-то, не помню, рассказал мне, что существуют билеты (пропуска) в какое-то особо надежное и, надо думать, особо комфортабельное бомбоубежище для избранных. И что эти билеты полагаются выдающимся писателям и писательским начальникам. Например, Ф.Кузнецову и т.д. И берут, сказали мне, не отказываются; приличные, вроде бы достойные люди берут...

Допустим, что это правда. Вот простое и ясное испытание: взять или отказаться?

Тут не слезинку, тут море детских слез переступят. Взять тот билет — уже переступить. И толкать все ту же карусель.

Они хорошо знают, что *оттуда* мало что доходит: ни проклятье, ни прощенье. Всегда можно сделать, что ничего не дойдет.

Когда-то С.Куняев написал: «и нет на земле виноватых». Не может моя душа с этим смириться. Не могу это принять.

Жалею, что не читал «Судного дня»². А как мальчик катается на горке, — тоже помню. Это не забудешь.

Твою статью о Козько прочел не сразу. Сначала, когда просматривал, споткнулся о последние абзацы, где о гуляющем «по рукам» «билете в рай» и т.д. А я как раз недавно тоже писал о «слезинке», и принял это место так, словно оно про меня, хотя тогда эти мои рассуждения еще не были напечатаны... потом преодолел, прочел, подивился, что мысль наша движется не как чужая, а как близкая...

Дорогой Лев, читал ли ты Катаева про расстрелы? Конечно, читал, напрасно спрашиваю. Какая тенденциозная вещь! Разглядел «акваринные слезы» на глазах расстреливаемого! Или обреченного — не помню. Сразу видно: не коснулось его, не коснулось, все пронеслось, не задело... И как ловко — к моменту, к выгоде, — вину распределил! Уважаю, отдаю должное, но веет обманом и упрощением истории, упрощением человека...

Читал ли Небольсина в «Контексте—79»? Отчего им так тесно, для чего и для кого они расчищают место? Какая-то мстительность, озлобленность... В «Нашем современнике» борются с Корбюзье, с этим масоном и, надо полагать, сионистом, и защищают «Трёх мушкетеров» от развратителей советского юношества...

Несколько лет назад я еще сочинял стихи:

Каков шабаш! Пирует вороньё.
Опять в полнеба чёрные крыла.
Упрямо имя мы твердим Твоё
И на Твои надеемся дела...

Подозреваю, что и ты «твердишь» и надеешься... А ты бы — случись такое, — отказался бы. От того «билета».

Уж прости длинное вечернее, т.е. смутное, письмо.

Из жизни провинции: из контор, из магазинов, из фабрик и заводов — всех на поля!

Кот в сапогах, указывая своему спутнику из окна кареты на чернеющий в полях люд: «А это все рабы моего господина!»

Юра Куранов в нашей молодежной газете рассказал об Алексее Козлове, прекрасном художнике (сейчас у нас его выставка, самая большая, посмертная): «Козлов не любил славянофильства. Однажды в его избе заезжий приятель увидел лапоть и восхитился: «Вы посмотрите, как великолепно сделан, я представляю, как в нем наши деды...» Алексей посмотрел на него и оборвал, круто нажимая на «о»: «Полно тебе ерунду молоть. Обыкновенный лапоть. Вот сейчас возьму и выброшу его...»

Неплохо? Так бы и надо с ними разговаривать.

Ну, ладно. Останавливаюсь. Пора и честь знать. Скажи Е.А.Мовчан³, что пишу о Личутине⁴, спешу, только о нем и думаю, пусть сильно не беспокоится.

Привет тебе от моей Тамары. Наш привет и самые добрые пожелания Шуре. Всего доброго твоей большой семье. Будьте здоровы. Игорь Д.

¹ Герой одноименной повести Василя Быкова.

² Повесть Виктора Козько.

³ Елена Александровна Мовчан — зав. отделом приложений «Дружбы народов».

⁴ Виктор Личутин — прозаик.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову

26 июля 1980 г.

Спасибо тебе, дорогой Дед, за вечернее письмо. Вот уж я-то никогда не удивлялся нашей переключке! Хотя мы часто волею литситуации оказывались «на разных берегах». Но это все относилось к ситуации, а не к нам — даже в период твоего новомирства, когда я гулял в ретроградах, — я так или иначе чувствовал, что ты-то болеешь совсем не тем, чем и теперь болеет твой оппонент А.А.Лебедев, — а это одно для меня и существенно. И эту твою тему, твою боль о крушении Божьего имени и о том, кто в произошедшем виноват, — я во всех твоих работах всегда вычитывал, хотя и с неравной ясностью она у тебя развита. А про «Карателей» ты написал с такой пронзительностью, что я просто был поражен, и обрадовался за тебя — если, конечно, можно говорить о «радости» в связи с такой болью, что там.

Насчет «входного билета» в «супербомбоубежище». Я должен сказать, что позорно невнимателен к этой стороне дела. Даже не слышал о таковом. А, может, и слышал, да забыл. Милый Игорь, так ведь *уже* мы с ног до головы обклеены этими билетиками. Не знаю, где ты берешь мясо для детей, но я беру в специальном писательском столе заказов, раз в неделю, и у меня и мысли не возникло отказаться, потому что в этом случае Шуре пришлось бы искать это мясо по магазинам, а ей и без того хватает. Мы уж сплошь и рядом берем «входные билеты», потому что других нет. Но ты поставил передо мной вопрос, над которым я задумался. Насчет убежища для Ф.Кузнецова. Черт его знает, у меня чаще всего бывает так: я от билета отказаться стесняюсь и беру, чтобы не было неловкости, а вот воспользоваться оным билетом потом как-то не хватает времени. Или духу. Мне и так родственники пеняют, что я не

пользуюсь всевозможными билетами, которые мне причитаются, а «передавать» нельзя — именные. Но вот одно так: оказаться там, в убежище, рядом с Феликсом — не хотел бы. Хотя он тоже детей бы там спасал — не себя, наверное. Тут так надо, по-русски: не ищи и не ловчи, а придет — стой. Оно тебя найдет.

Вот дети — ты прав — больное место. Куда их, как спасти? Апостолы 30-х годов (теневые) пишут: что угодно, только детей иметь нельзя: у Ахматовой сына *заложником* взяли и т.д. Вот как: нельзя. Да когда они уже есть, дети-то! Да и потом: как это нельзя, что за черт! Если бы я здраво рассуждал, у меня никаких детей и не было бы, а их рожают спугу и в бездумье, и только так, — я объяснить не могу, а вот взял да народил, теперь поди ж ты, что с ними делать? Я решил так: если не вышло воздержаться, то надо рвать когти вперед, — и я выдал старшую дочь замуж две недели назад за одного хорошего парня. Давайте, говорю, дуйте! Освободите мой дух для всемирной печали, а то с этими детьми руки не доходят. Разве ж людей исправишь? Что будет, то и будет, а наше дело — мы с тобой его и делаем. И это ничего, что не видимся и не беседуем, это совершенно ничего не меняет; этих беседующих литераторов в Москве — несколько секций в Союзе: так все беседуют, что ничего в голове не остается — все усвистывает в «общение». А просто я знаю, что ты сидишь в Костроме, читаешь Чичерина, Ключевского и Новгородцева, и от мысли о тебе мне на душе прочно, — вне зависимости оттого, хорошо ли тебя напечатали или оскопили. Напечатанное нами — все равно козе под хвост пойдет. А вот что останется?

Обнимаю тебя! Твой Лев.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
26.12.80.

Дорогой Лев, с Новым годом! Здоровья тебе и твоей семье, а также благополучия и успехов в твоих делах!

Я понимаю тебя, когда ты сказал: «Нам бы ваши заботы, господин учитель!» Ну, пусть повторил — как в том анекдоте, — но к месту, вовремя и поставив то сочинение на место. Охотно цитирую тот твой период, что предшествует этим словам.

Твою книжку о Толстом (и кино) прочел давно и все собирался тебе писать, и вот дооткладывался до Нового года. Книжка, особенно в первой половине (пока жив Толстой), читается как роман, почти детективный.

Вообще впечатление такое, что ты эту тему — Толстой в кино — исчерпал; другим там делать нечего. Собственно, ты ясно сказал, что кинематографу незачем братья за Толстого, все одно — не справиться! Хорошая книга, можешь быть спокойным; возможные расхождения — не в счет.

Заметил ли ты у Палиевского (толстовский «Прометей») цитату о «трагизме» — ту, что есть у тебя тоже. Отзвук я заметил потом у Селезнёва: опять о трагизме. Я чувствую за этим некий взгляд; к Толстому он не имеет отношения; в том взгляде — жестокое, но здесь мне это не выразить...

Ну, как тебе «Выбор»¹ — наверное, ночи не спал, переживал? Он как бы обязывает нас ночи не спать, страдать, руки ломать, по комнате взад — вперед бегать, — а не хочется: ни страдать, ни маяться, ни вечные вопросы обсуждать. Хочется встать и журнал за печь забросить.

Уж лучше Кондратьева читать, про отпуск по ранению. Кондратьев еще не понял, что надо изо всех сил «художественно» писать. Осточертело это «художество»!

<...>Читаю Киреева², один его роман одолел, твое послесловие прочту потом, но зачем ты писал? Помню, была в «Новом мире» рецензия И.Соловьёвой на Маканина («Портрет и вокруг»), прочел я недавно и Маканина; толку от этого чтения мало, и тоже подумал: зачем? И.Соловьёва — зачем?

Попалась мне речь А.Афанасьева на московском отчетном сборище (собрании),

подвигая: вот бойкий народ пошел — «московская школа», говорят. Острые локти. Литература — как очередь.

Поневоле станешь «федералистом».

Прости, что пишу на каком-то клочке. Думал, умещусь на открытке, да разошелся... Ночь, и год еще старый...

Что делать?

Будем жить и, значит, работать.

Жаль, все коротко. Читал ли ты «Наш городок» Т.Уайльдера?

Это совсем не то, что бондаревские банальности о смерти и жизни.

Плохо, что коротко, потому что нетерпение все-таки существует.

Хорошо, что есть дети.

В новогоднюю ночь вспомним не Суворова («Коли! Ура, ребята! Коли!»), но Костюшко. Не хочешь?

Ладно, все отступает перед нашими робкими новогодними надеждами и молитвами — на лучшее, о лучшем!

Пусть все у вас будет хорошо. Будьте здоровы и счастливы. Наш поклон Шуре.

Игорь Д.

¹ Роман Юрия Бондарева.

² Руслан Киреев, Владимир Маканин, Анатолий Афанасьев — прозаики так называемой «московской школы», герои будущей остро полемической статьи Дедкова «Когда рассеялся лирический туман».

Лев Аннинский — Игорю Дедкову

17 января 1981 г.

Рад был получить от тебя новогоднее поздравление и письмо, дорогой Дед, — в Новом году желаю и тебе не петушиных, но человеческих успехов, а письмо твое, как всегда, вызвало у меня глубокий душевный отклик.

Тронут, что тебе понравилась моя «Охота на Льва» (Толстой и кино), но ведь я ее тебе не надписывал? Прошу тебя, захвати в Москву твой экземпляр, я надпишу, а заодно опечатки исправлю, там одна убийственная, на 133 с. в цитате из Шкловского: «консерватория» вместо «консистория», — я еще над стариком смею хихикать, когда в цитате — такой ляп. Хорошо, парню 90 лет, а то он бы мне показал «консерваторию» за мои хаханьки.

Маканин и Киреев — сегодняшняя *работающая* русская проза. Работающая — то есть некрасивая и потная. Я понимаю смысл твоего удивления, но надо ж и немножко в материал врезаться, а не только платонически переживать «Выбор» в секретарском томлении духа. Там уж и вовсе ничего нет, одно «художество», которое мне, как и тебе, давно и прочно осточертело, и я, конечно, эту секретарскую прозу в руки не брал. Бондарев среди них тем жалок, что осекретарился прекрасный по природе парень и хорошо начинавший писатель. Сожрали. Нет уж, раз так, то мне проще с каким-нибудь барином вроде Кожевникова, чем с этим ностальгирующим по трудностям счастливецом. Нет, пусть вернется в простые смертные да полочкоткается в литературной очереди локтями, тогда я его, может быть, попробую читать. Ибо локти — это хоть и противная, но все ж реальность. А тут — облака.

Ты прочел Уайльдера? — я за ним давно охочусь, но пока без успеха. Но зато в эти каникулы (школьные) повез дочь в Малеевку и — меж лыж — прочел Фолкнера «Непобежденные» — издалека, исчужа, а — хорошо.

Писал там о «Карателях» Адамовича и вспоминал тебя — удивительно точно и смело ты отреагировал на эту вещь — ну просто как *человек*, это ж у нас уже почти запретно — реакция *просто человека*, ведь непременно следом идет кто-нибудь с

палкой, вроде А.А.Лебедева, и стучит: «Ты забыл про фашизм! Скажи про фашизм!» Был соблазн влезть между вами и палку его попридержать, но, поколебавшись, отказался от соблазна: Лебедев считается мой враг, я счеты сводить не люблю, а выглядеть будет как сведение счетов, ну его к черту.

Давай лучше выпьем за Суворова и Костюшко. Пусть каждый выполняет свою задачу, но лучше бы им не встречаться. Вот тебе новейший польский анекдот (перевожу с польского): «Придет Ваня — уйдет Каня — будет конец валензанья». По-польски «валензачь» — бездельничать, в а л а н д а т ь с я. Каково? Если учесть, что поляки в XIX веке обгоняли нас в событиях истории на полста лет (конституция и проч.), то прелестная у нас перспектива. Я думаю, что все идет к тому, что просто все бросят работу и начнут писать стихи. Сбудется, наконец, то, о чем мечтал лучший и талантливейший: «много стихов и песен». И ноль жратвы. То-то будет весело, то-то хорошо.

«Быкова», как выйдет, пришли мне, ладно? А то боюсь, пропущу. Прими, Дед, мою *с о л и д а р н о с т ь*. Твой Лев.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
31.03.81.

Дорогой Дед, ты молодчина — при всей тактической неровности книги. От первой фразы, где Кутузов оставляет раненых человеколюбиею Наполеона, я взвыл. И продолжал от восторга выть еще страниц двадцать, — настолько широко, мощно и резко ты начал, настолько горько и трезво видишь нашу эпоху, настолько виртуозно это сделано. Потом несколько ослабло, и не могу понять, почему: неужто сам Быков так затормозил тебя? Еще один пик — в третьей главе: Борн, Генри и прочее — новый выход на философию войны. И потом уж идет хорошо, ровно, и Быков, кажется, подтягивается. Много безошибочных и точных нравственных комментариев — конкретно, по сюжетным поворотам его. Многовато, впрочем, долгов отдаешь предшественникам, и хотя в ряде случаев хорошо фехтуешь, — чрезмерное внимание к критикам, говорившим по поводу Быкова всякие банальности, несколько тебя вяжет. Еще из слабостей: мелкий и точный штрих, хорошо работающий в тулове книги, слабоват на кончиках. Ждешь какой-то резкости, грубого штриха, удара, а его нет. Особенно к самому концу. Бек стар, параллель хороша для фактуры, но не для финала. Тут «третий пик» нужен, чтоб я взвыл, как в начале, понимаешь? Я же почувял, *что* ты знаешь, *что* можешь, *как* умеешь душу вынуть — зачем мне в финале и апофеозе «добротный анализ»? В целом же я рад за тебя — книга *твоя*. Спасибо. Из того, что написано у нас о Быкове, — лучшее (впрочем, что это я: разве это похвала? Наш «фон» — для дистрофиков. Годунов вон *не пил* — и царем стал.) Жму руку! Твой Лев.

Пишу тебе, а знаешь, Трифонов так и стоит в душе колом.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
[9.05. 81]

Дорогой Лев, с праздником Победы! Сколько живем, столько помним. Сколько жить будем, столько будем помнить этот день!

Спасибо тебе за то, что прочел книжку. За твой разбор. Ты заставил меня задуматься над тем, над чем, пока я писал, я не думал: над строением строения. Думал о всяком другом; например, о том, что вряд ли возьмут в таком виде и т.д. А надо было думать! Если б думал, все было бы лучше. Да что теперь; на будущее пригодится.

Словом, я тебе благодарен.

Как ваша московская жизнь? Много ли писателей теперь осталось — без Шукшина, Семина, Трифонова?

Я читал тут (а потом писал про них) так называемую «московскую школу»: Афанасьева, твоего Киреева, Курчаткина и др.

Я угнетен этой литературой. <...>

Что происходит? (А, старый вопрос!)

Читаю Гумилёва «Этногенез и биосфера Земли» в 3 т. Читал ли это сочинение? Очень полезное. Для ответа на старые вопросы, в том числе. Я выписал их наложенным платежом из Люберец (ВИНИТИ).

Как твоя большая семья?

Какими путями ведет тебя жизнь? Что пишешь? <...>

Будьте здоровы и благополучны. Игорь Д.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову

7.5.81.

Спасибо за поздравление, дорогой Дед! Горький праздник. Желаю тебе не утратить тон, что ты сейчас нашел, — ты на коне.

Рад, что ты оценил Гумилёва. Я его изучил года три назад, еще в рукописи (до депонирования текстов) — мне дал сам Л.Н. Работа огромная и необозримого воздействия. Взять хоть мысль о необязательности монолитного этноsubstrата в образовании нации. Это ж он вынимает стул из-под наших русофильских бонз. Недаром они Гумилёва не любят! <...>

Что пишу? О Лескове книгу закончил¹. <...>

Привет твоим! Жму руку — Лев.

¹ «Лесковское ожерелье».

Лев Аннинский — Игорю Дедкову

15 июля 1981 г.

Дорогой Дед!

Заходит ко мне сегодня Оскоцкий¹ и говорит, что на съезде видел, как Алесь Адамович дал тебе «Неман» с моей статьей о «Гипербореях» («Карателях») и что ты ее читал. Почто ж не скажешь? Не понравилось? Не задело? Я твою статью отлично помню, считаю замечательной (публично даже пропагандировал ее), и потому *твое* мнение о моей — для меня особенно важно. Сам писать я постеснялся, но уж если Алесь тебе дал, и ты вправду прочел — и ни слова мне — значит никак не тронуло? Или было какое-нибудь встречное мнение? Мне-то она пока еще нравится (моя статья), а там черт ее знает.

<...> Не мог же ты *ничего* не почувствовать, читая, — ведь мы об одном писали и думали — об *обыкновенном* человеке, который лежит в основании всякого Вавилона.

Жму руку. Твой Лев Ан.

¹ Валентин Оскоцкий — литературный критик.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому

20.7.81.

Дорогой Лев,

да если б я *прочел*, неужто бы промолчал? Это Оскоцкий тогда прочел, а я, через его плечо заглядывая, взглядом скользил... какое там чтение! Кто-то на весь зал бубнит, а мы с Адамовичем разговоры разговариваем... думал, приеду домой, прочту, предвкушал даже, — не без ревности. Ну, а приехал, и попал «Неман» в грудку новых

журналов и книг, и лишь твое письмо вырвало его оттуда, — вот когда и спохватился и наконец прочел: вчера..

Ты взял шире меня — во все концы, свободнее. Ты сделал больше моего шагов *о т я м ы*. Чем дальше, тем меньше чувства, тем быстрее восстанавливается мысль. Ты напрасно пишешь, что уходить *от ямы*, т.е. рассуждать, — значит «предавать» того мальчика. Ты даже возгласил, что «отдать бы все это» (и творение Адамовича, и все рассуждения вокруг него) за одну-единственную воскрешенную живую душу... Ты словно слышишь ползущий упрек: они мучились и погибли, а вы из этого делаете *литературу*, умные речи ведете, честолюбие тешите, на жизнь зарабатываете... И, словно себя растравливая, добавляешь нечто о «литературном мастерстве» Адамовича, прекрасно зная и чувствуя, как неуместны, чужеродны *здесь* эти слова... Или я ошибаюсь, или верно догадываюсь о твоих сомнениях, но я убежден, что никакого «предательства» «того мальчика» в наших сочинениях (тем более — у Адамовича) не совершается. Если б можно было спросить тех — *в яме*, мы бы в ответ услышали: «Расскажите о нас. О наших мучениях. О нашей гибели. Расскажите о нас». Если б они знали об этом пусть позднем о них рассказе, о «рассуждениях», они были бы благодарны (если это слово годится). Окажись я на их месте, я был бы благодарен. Предательство — это молчание, забвение и — рассуждения, но *другие*: наших «сверхчеловеков»...

Я не совсем согласен со словом «запредельный». Все это дано уже в «пределах» и давно уже «разрешено нервной системе нормального человека». Я понимаю читателей, которым просто страшно: им не хочется мучиться снова и заранее. Другие жалобы читателей — это жалобы людей, которые не хотят видеть и слышать. Тут есть что-то жеманное. Они будут жеманничать, пока «запредельное» не переступит порог их дома. Впрочем, оно давно уже подселено к нам, но пока оно не схватит каждого из нас — его «нет», оно — «за пределами».

Лёва, еще несогласие, третьестепенное. Ты пишешь: в XX веке «не те скорости»; «от одного мгновения зависит, в то или в это русло покатится судьба». Думаю, так было всегда, во все времена, когда человек принимал какие-то серьезные решения. Разумеется, это не касается Обломова. Скорости — те же, а «правила» «взрослых игрищ и забав» — другие. Представь себе, что Муравьев попал в плен к французам в двенадцатом году...

«Монологи» Гитлера я воспринимаю, как и ты. С «внутренним усилием». Мне мешает их литературная гладкость и некая фразеологическая респектабельность. Это «внутренние монологи» — ни таиться не нужно, ни прикидываться, ни производить впечатление, — уж какой, должно быть, там был лексикон, какая логика!.. Что у него, что у его соперника на Востоке...

Ты сильно ополчился против «заурядного», «обыкновенного», «среднестатистического индивида»; по-твоему, он «решает», а «сверхчеловек» — всего лишь его «выдвиженец». Это хорошо обдумал В.Сёмин. Он твердо знал вину «невинного обывателя» и не простил ее и через тридцать лет. Но вряд ли бы он согласился с переносом акцента на этого обывателя, на «кровь, которая давит и ищет сосуды». Хорошо организованная «мафия», и — никакого фатализма! Это она изготовила «энтузиазм немецкого народа» и «разлила его по бутылкам», это она нашла народу его «выдвиженца». Фатализм получается тогда, когда объяснение вещей застопоривается и дальше не идет, хотя оно существует. Я не верю в «кровь, которая давит». Там не «кровь» давит, а нечто менее таинственное и стихийное: осуществляется чей-то сценарий, ставят спектакль, и роли всех — распределены. И постановщик — тот «заурядный человек»?

Совсем не хочу сказать, что — «сверхчеловек». В.Сёмин чувствовал, что «блатные» и фашисты — от одного генеалогического ствола; ты прав: «сверхчеловек» — «сменный синоним» некой силы: вот как ее определить?

И последнее сомнение: «вековая природная сила и вековая крестьянская выдержка», а еще «закон земли» — все это чрезвычайно отвлеченно. «Закон земли» — это вроде того, то «все там будем»...

Впрочем, все мои оговорки — у тебя по моей статье набралось бы не меньше — не мешают главному: признательности тебе за эту статью. Что-то, возможно, сказал я, но ты сказал больше. Кажется, мы не сталкиваемся друг с другом; во всяком случае, я этого не заметил. Я рад за тебя, что ты смог написать про жизнь, которая «опирается на будущее, как на костыль». Это ты сказал неотразимо. И еще я пометил для себя — про «биологический автомат». За этим тоже много стоит смысла. И про фашизм («Личности нет — есть тесто...» и т.д.). И еще потрясающее место: про «евангельское прощение разбойника» и далее. Может, центральное место статьи — с долгим смыслом. Мне ведь это отпущение грехов, прощение тоже мучило. У японцев такой разбойник, надрываясь годами, пробивает туннель в горе и тем самым искупает свои преступления. Тут же — покайся, поболтай языком, и уже очистился, и прощен! Туннель меня тоже не убеждает, но все ж таки — какое-то время...

«Личностного разбора» не будет, и тем не менее Адамович предлагает «личный разбор»: и Тупига дрогнул раз, другой, и он человек, но эта человеческая остаточность не зачтется, а обойти ее — оставить лазейку для оправдания. Это ведь с какого конца считать: можно и с того, как пощадил ту бабу «с выводком», и ее притащить в свидетели... Некоторым «выдвиженцам» именно так сейчас и считают заслуги, и добродетельное поведение...

Дорогой Лев(а), прекрасное сочинение ты написал. Я понимаю, что все эти слова («сочинение» и т.д.) плохо вяжутся с предметом. Но что делать; нужно же как-то называть. Твоя масштабность мне пока недоступна. Или это от неуверенности, или боязни отвлеченностей. Или еще от чего... Не хочется сейчас в это вникать. Я тогда даже имени Гитлера не назвал; что-то мешало; и литературные параллели тоже казались недопустимыми. Это я, наверное, отойти не мог... Сейчас, может быть, и сумел бы.

<...>Прости длинное письмо. Все равно что-то не досказал. Но это относится к согласию, а не к спору. Всего тебе доброго.

Игорь Д.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову

24 июля 1981 г.

Дорогой Дед, ты попал в точку: сижу на рюкзаках. Завтра ночью уже на Селигере в палатке (нас трое: жена, я и средняя дочь), а поезд — сегодня вечером. Твое письмо среди этих сборов так меня подняло душой — хоть оставайся! — а то я на две недели уже было отключился от «литературы», — но такое общение, как в письме твоём, — праздник, и я, оттащив рюкзак в угол, откликнусь кое на что немедленно, не откладывая до встречи.

Если бы Муравьев попал в плен к французам в 1812-м году, он бы продолжил военную карьеру — там. А если бы он попал в плен к татарам в 1223-м или к гуннам еще пораньше, из его черепа могли бы водку пить или кожу бы содрать. Конечно, про «скорости» — это у меня скорее «знак», чем определение. Но может быть, 1812 год — исключение, а норма — гунны, и мы с ними?

Что Алесей <Адамович> — человек «земли» — я пишу весьма отвлеченно, ты прав, но пойти дальше не могу и боюсь. Я христианин, а он все ж язычник, и хоть думает о личностном разборе, но все ж склоняется к огненной яме княгини Ольги. Попрекать его этим не могу, но какое-то дальнейшее расхождение с ним у меня тут брезжит. Я не хочу примириться с концом «иудео-христианской традиции», хотя, может быть, она и кончилась.

Главное, конечно, — это вопрос о том, в ком дело, в главном «фюрере» или в нас. Меня когда-то Надежда Яковлевна Мандельштам пронзила одной репликой... В одну из встреч (я с ней говорил дважды) я в либеральном духе пустил ей какую-то ядовитую мыслишку о Сталине. Она ответила кратко: «Дело не в нем, дело в нас». И пронзила меня на всю жизнь. Если кто-то ставит спектакль, пишет сценарий, распределяет роли, организует мафию, — даже если это и так, — мне с этим нечего делать. Это вне моих сил, вне моей реальности и вне моих интересов. Я это игнорирую. Единственное, что я могу, — это кричать, что дело *в нас и что мы все виноваты*. Отсюда — и «упрек ползущий». Ты прав: те, в яме, хотели бы, чтобы мы, далеко от ямы, о них хотя бы просто помнили. Ты прав, прав, конечно.

«И все же, все же, все же...»

Сам-то ты (сравнить с Лебедевым, сплошь из отвлеченностей состоящим) — сам-то на одну доску себя поставил с любым и каждым в той яме! Твоя позиция — христианская, и потому так до боли близка мне, и откликнулся я на твою статью как на братскую, и про Кудеяра ты так же думаешь — тоже знак. Другое уж дело, насколько реальна такая позиция «при нынешних скоростях», она, может, и нереальна. Но... как сказано, — лучше быть со Христом, чем с истиной? Что будет, то и будет. А про малую якобы твою «масштабность» — смешно и читать. Масштабность твоя — внутри дыхания, она в каждой фразе, потому что ты прирожденный к писанию о книгах человек, а не деятель, который «масштабностью» должен свою немощь компенсировать.

Словом, спасибо тебе братское за отклик! <...>Жму руку! Твой Лев.

P.S. Читал в «ЛО» твою закруглостольную речь. С Беловым ты обошелся достойно. Я уж не говорю об «Однодуме» моем любимом. Так что тут у нас с тобой полный контакт. Ты стоишь на *своих* ногах, и все это видят. Л.

*Лев Аннинский — Игорю Дедкову
18 декабря 1981 г.*

Дорогой Дед! Прими на Новый год лучшие пожелания. Ну, хотя бы: чтоб 1982-й был для тебя таким же, как 1981-й, а поскольку 1981-й в критике был «годом Дедкова» — я серьезно! — то и держи так!

Ты сейчас действительно — первый критик на Руси. После статьи о туманах особенно. Не радуйся: этот преходящий приз бегаёт от человека к человеку весьма быстро. Но тебя этот год действительно читали, как никого.

Не помню, писал ли и говорил ли тебе про твою книгу статей¹. Собственно, не про книгу, а про первую статью, которая была для меня внове. С болью и радостью читал ее — видишь, какое дело, тут еще личное: в 1948 году я через Кострому ехал в Лунёво, в мои 14 лет — отец убит, мать от отчаяния в вечной ярости — это первый город, увиденный мною сознательно — залитая солнцем «сковородка», пустынность улиц, потом восход на Волге — почувствовал: как прекрасен божий мир! — а отец все стоит пробоиной в памяти. Ну, словом, ты понимаешь, *как* я читал эту твою статью.

Статья твоя в ДН про прибалтов² неуловимо уязвима: ты несколько боишься, что обнаружится твоя неуверенность в материале (оно, может, ты и уверен, но — боишься), и оттого — очень щитно строишь, ни звенышка не перепрыгнешь. Ощущение, что идет человек в полном вооружении, кирасы там и прочее, — медленно так идет, каждый уголок высматривает — нет ли опасности. Хотя, ничего не скажешь: вооружен, не пыхтит от натуги.

Зато «Туманы»³ — событие исключительное. Вот где свобода и полет! Никого не боишься! Куда хочешь, туда и гуляешь. Я одно время думал «Бумеранг» писать, продумывал свою контрпозицию; позиция и спор с тобой *возможны*; но это не меняет того главного ощущения, что статья твоя есть и останется лучшей статьей года, и моя воля — я б ей, не задумываясь, — критического Оскара! И сказал это публично, в

присутствии особы В.И.Гусева, на давешней секции⁴, где ты был героем дня и героем года, и заслуженно.

Набежало на то заседание прозаиков — куча; все, как один — «сорокалетние», все, как один, — ждут твоей казни. Но и левый фланг критики отнюдь не дрогнул — пришли, встали стенкой: не отдадим! Прозаики молчат, критики соловьями поют, Гусев, белый весь, вмешивается в речи, но ничего переменить не может. И все *наперед* удерживают друг друга от «запрещенных приемов»! В общем, повис топор, запахло дележкой портфелей, окаянными шеями, нехваткой бумаги и тем, кого когда в эти шеи откуда гнать. Роднянская, как пифия, распахнув плачущие огромные черные глаза, встала перед этими ошестиненными мужиками и сказала: Дедков замечательно талантлив, но не чувствует конца света, и вы все тут деретесь, а конец света *завтра*; мне страшно... Мужики выслушали ее, пожали плечищами и... пустились дальше волтузить друг друга. Даже два дня спустя Гусев, ведя секцию по совершенно другому вопросу, мелко стуча пальцами по столу, пугаясь в согласных, кричал, что Дедкова он ценит, но что его выступавшие оскорбили в гражданских чувствах, и он будет жаловаться лично Феликсу Феодосьевичу.

Вот, Дед, наделал ты делов.

Ну, я рад случаю высказать тебе мои мнения, а то целый год некогда слово сказать.

Лучшие новогодние пожелания твоей семье! Твой Лев.

¹ И.Дедков. «Во все концы дорога далека»: литературно-критические очерки и статьи. — Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1981.

² «Простор рассказа, воспарение души, или Как называется ваша команда?» («ДН», 1981, № 9).

³ И.Дедков. «Когда рассеялся лирический туман» («Литературное обозрение», 1981, №8).

⁴ Владимир Иванович Гусев — литературовед, критик, руководил секцией критики СП СССР.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
28.12.81

Дорогой Лев,

Как же это — в сорок восьмом *ты в Лунёве*, я в Щелькове — в одном, странно чужом и странно родном, пространстве бродим? Два мальчика — один, уже знающий холод беды, другой, не знающий ничего... И оба запоминаем ту пору...

Удивительно и хорошо, что так бывает.

Ты увидел Россию через Кострому, я — через Кинешму...

И послушай — вот еще продолжение чудес. Одним августовским утром мы с сыном приходим на пристань, собираемся плыть в Ярославль — просто так, побродить, посмотреть. Но *снизу* — ничего; говорят, туман, «ракеты» пережидают, и мы тоже принимаемся ждать, час, полтора, и вдруг — «ракета» *сверху*. А что, говорю я Никите, поплывем в Кинешму, какая нам разница, и мы плывем... Ну, а в Кинешме чуть поднялся от Волги — базарная площадь, а там у часоушки, знаю, всегда торгуют книгами, — а я мимо этого никогда не хожу, — и мы с Никитой — к тому лотку... Смотрю, что-то желтое из всего остального, серо-коричневого, выбивается, и моя фамилия — поперек... Знал я, конечно, что скоро книжка моя ярославская должна появиться, но чтобы так — здесь, не в Костроме, под боком у Ярослава, а именно здесь впервые ее увидеть, — мог ли думать, предполагать?

Вот и соединились концы и начала: Кинешмой сорок восьмого началась книжка, и в Кинешме восемьдесят первого я впервые взял эту книжку в руки... Мы шли с Никитой к книжному магазину, — еще надо купить, еще! — и смеялись: вот так чудеса! Хотел взять несколько, а мне дают одну, последнюю, и я им говорю: «так вы же только

что ее получили», а мне отвечают: «ну и что, мы уже распродали». Я-то понимаю, что тираж ерундовый; и дали-то им несколько штучек, и «распродавать» — нечего, но все равно хорошо, все одно к одному, — и будь их здесь желтые горы — было бы плохо, и все бы в душе, может быть, потускнело б от количеств, и стало бы стыдно, а нет — и легко, и мы бродим по старой, бедной, тихой Кинешме такие веселые. Вспомним свое удивление и смеемся...

В Костроме книжка появилась только через дней пять... Такая история.

Вовсе не новогодняя, но это твое письмо заставило ее рассказать. Не заставило; просто так соединилось...

С Новым Годом, дорогой Лев! Будь здоров сам и пусть будут здоровы и благополучны все твои близкие. Наши самые добрые пожелания Шуре. И твоим дочерям. Вашим дочерям.

Хотя бы под Новый Год можно чуть помедлить, *притормозить*, отодвинуть работы — заботы, и подумать, как помолиться о тех, за тех, кем дорожишь...

Ты слишком щедр — не было никакого «года Дедкова». Ни года, ни месяца, разве что — несколько дней, когда московская лит. братия склоняла мое имя. И что их так задело, чем Гусев потрясен — не понимаю. Услышали нормальную человеческую речь? Отвыкли? Володя Леонович переводил О.Челидзе: «Кто-то должен родиться для речи прямой...» Не льщу себе — это не обо мне. И вообще, наверное, не о нас, но мы по крайней мере об этом помним: о «речи прямой». (У А.Кушнера даже книжка так называется). Вот чем, Лев, в твоём письме польщен: из твоих-то рук, да «критического Оскара» — допустим, игра такая, — получить не прочь... А вообще спасибо, что встрял в те дебаты, «заступился»... А ведь хотя бы из приличия пригласили бы... Впрочем, вряд ли бы поехал, хотя твердо этого не знаю.

Дорогой Лев, потеплело на душе от твоего письма. И насчет «прибалтийской» статьи ты почувствовал верно: писал, и было совестно, что многое от меня скрыто, недоступно, не знаю. И не хочется обижать никого, потому что во мне к ним — симпатия, и несогласие мое — преодолимое...

Знаешь, мне тоже придется писать о Бакланове. Эта твоя статья в «ЛО» — не из предисловия ли какого — такая в ней основательность? Я пока не готов рассуждать о Бакланове на твоём уровне, но кое-что оценил в полной мере: «все стареет, распадается, расплзается», «жизнь утратила общий замысел» и т.д. Это действительная драма баклановского героя. Но из Мотовилова вполне мог получиться Илья Константинович, и это — еще не худший исход. Кажется, пока ты писал, ты переменялся к Бакланову, от сдержанности и рассудка — к живому сочувствию и пониманию, к сознанию его самостоятельного и немалого значения.

То труднее было мне принять, так это твою беседу с Трифоновым. Правда, В.Курбатов из Пскова твоей позицией, твоими речами восхищен. «Так их, писателей, — пишет он мне, — сочинили свои романы, издали, и пошли прочь, теперь — наше дело, теперь мы поразговариваем...»

Твою идею критического «самовыражения» я знал и раньше, и к ней был готов. Но в той беседе ты нажимал на нее, на мой взгляд, чрезмерно, и в этом было что-то искусственное, только полемическое, словно это-то важнее прочего. Это мне не очень близко. Или, когда я читал, я просто не мог не быть на стороне Трифонова, потому что *его* — *нет*?

Ничего, под Новый год наша почта тебе это серьезное письмо не принесет, хотя пишу в ночь на двадцать восьмое, а до Москвы нет и четырехсот километров. Этим я себя как-то оправдываю, но все равно прошу прощения за пространность моего изложения...

Пора, однако, и честь знать. Еще бы надо о многом тебе написать, да сразу — невозможно.

Счастливого тебе года — во всех твоих писаниях, статьях и книгах, во всей твоей жизни.

Нет, брат, тебя не спутаешь, не спутаю ни с кем из пишущих. У тебя помимо прочего, может быть, и более важного, — тон другой, голос другой, человечнее, понятливее других, что ли... Ты читающего помнишь и понимаешь. Потому и меня понимаешь. И тебе не все равно, какой я... Такие дела, Лев.

Будьте все здоровы и счастливы. Твой Игорь Д.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
22 января 1982 г.

Дорогой Дед,

спасибо тебе за горячее письмо, которое ждало меня дома, пока вернусь из Малеевки. Даже немного позавидовал тебе, как ты книгу свою в Кинешме купил. У меня был случай похожий, года полтора назад, когда сказали, что «Охота на Льва» есть на Арбате, и я «побег», и от дверей магазина увидел, как человек какой-то увязал в пачку и понес от прилавка штук шесть этих моих «Охот». Одет скромно, интеллигентно, может быть, учитель, может быть, приезжий. Смотрел я ему вслепую, машинально подсчитал, сколько он за эти семь экземпляров денег отдал, и плакать мне хотелось, и за хлястик его дернуть. Что-то во мне поплыло, и я тихо ушел, ничего себе не купив тогда, и думал: зачем нет со мной никого из моих дочерей сейчас? Ты понимаешь, чему я у тебя позавидовал? Что там, в Кинешме, ты был с сыном.

За Бакланова — особенное спасибо тебе. Знаешь, это не предисловие. Это я ради рецензии его всего перечитал. Чайник? Наверное. Сейчас о Фете пишу — ради того, чтобы выверить одну фразу, заказываю в Ленинке и просматриваю целый том побочных сведений. Я, наверное, Иссахар: обожаю рассказывать людям то, чего они еще не знают. А *суть* ты уловил безошибочно: Мотовилов стал Ильёй Константиновичем, и это *еще не худший исход!* Господи! Да они мне плешь переели, Оскоцкий, а через него — сам Бакланов: как-де я посмел этих людей сблизить, когда Мотовилов — «одно», а этот — «другое», тот для автора — герой, а этот — дерьмо, а Бакланов-де писатель фронта, а это... и т.д. Послушаешь их, рот раскроешь и ничего не скажешь. Дед! Ну как же ты замечательно уловил! Ты это *им* скажи, что это еще *н е х у д ш и й* вариант! Что будет — *хуже!* Они ж — блаженненькие! Ошибся ты только в «порядке» моих действий. Я с н а ч а л а увлекся повестью Бакланова, чисто читательски, а решив перечитывать, всю эту руду проходя, постепенно разозлился и стал его осаживать.

Мнение Курбатова о нашем с Трифоновым диалоге мне *очень* лестно, потому что я читаю Курбатова и ставлю высоко его перо. Но атака на меня за этот диалог идет сейчас лютая, и знаешь — из кругов читательских (г-да литераторы, как правило, в восторге от меня). И не потому, что его *нет* (меня это тоже останавливало, но решило то, что сам Ю.В. при жизни сильно желал видеть наш разговор напечатанным). Нет, тут еще что-то. Выросли совершенно новые люди, им мой «скепсис» (твоя аттестация) дик и жалок, у них отрасли руки и чешутся кулаки, они опять хотят собраться в кодлы и «чего-нибудь добиться», а тут старый хрен, лысый сатир ходит и ерничает со своим самовыражением, чего-то подначивает, подкалывает, злорадничает, хитрит и прячет... Хорошая мишень! С таких, как я, и начнут.

Кинешма... Я в 1972 году, сверху Волги идя, до нее дошел, больше отпуска не хватило. Знаешь ли, откуда слово это, Кинешма? *Она на него* посмотрела и сказала пророчески: *кинешь мя*.

И кинул.

Прими мою читательскую и прочую любовь. Дому твоему привет. Твой Лев.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
[27.12.82]

Дорогой Лев, с Новым годом!

Прошедший — если смотреть издалека — был для тебя удачным, и я поздравляю тебя с книгами. И благодарю за «Контакты»¹ — прости, что молчал, не откликнулся: надо было почитать. <...>

Ты постарался и книжку свою сделал ловко, и не пожалел труда: ко всему вернулся и все связал.

Недавно я немного писал о Друцэ; ты взял глубже, чем я. О Матевосяне ты написал с какой-то особой любовью; другим ее досталось меньше. Нет, это не простое «сложение» статей; захочешь свое «сложить», как ты, — поломаешь голову. Но «жажду беллетризма» в конце звучит не очень серьезно — вроде игры. В заметке об Айтматове про это сказано серьезнее; «сильное — просто». Ты, кажется, не «беллетризма» жаждешь — впрочем; без «кажется», — простого и сильного: как та айтматовская учительница заплакала... «Мифологизм» и прочее в этом роде мне тоже не по душе; ты это знаешь; но слово «духовность» я тоже не люблю из-за его невнятности; оно ходит по рукам и всех устраивает. Оно требует уточнений и разъяснений. Поэтому «жажда духовной реальности», «духовность бытия» на меня впечатления не производит. Кстати, было ли что в лексиконе Толстого? Это недостаточно «простые» и недостаточно «сильные» слова. В них есть то ли звук, то ли звон, словно внутри пусто, и каждый волен вкладывать свой смысл... Заметь, сколько пишут о «духовности» Селезнёв и др.

Как дойдет речь до современности, кто только не «духовен» и не «духоносен»: и Стаднюк, и М.Алексеев, и проч.

Впрочем, это их хлопоты. Направление их известно. Но ведь не устают — про «духовность»!

Да, мне бы так книжечку «сложить»... Мудрый ты человек, Лев Аннинский.

Правда, я задумался еще вот над чем: как нам писать, чтобы читать нас могли многие, а не только литераторы? Ты о читателе думаешь не всегда. Или — никогда? Наше вечное метание: между конкретностью анализа и отвлеченностью (волей) обобщений. Ты пропускаешь какие-то звенья размышлений; старая критика этого не делала. «Тем хуже для нее», — скажешь ты! М.б., и так. М.б., и нет.

Прости мои каракули — на той стороне открытки — не пишут. И вообще прости — поздно, вечер, голова в тумане. Сегодня — 27 декабря. Когда-то дойдет до тебя...

<...> Всего тебе и твоим близким самого хорошего. Всем — здоровья! Игорь Д.

¹ Сборник литературно-критических статей о многонациональной советской литературе 70-х годов. — М.: Советский писатель, 1982.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
10 января 1983 г.

Дорогой Дед,

последнее время думалось о тебе много; хотел писать про твои «Концы» в ДН, совсем настроился — да и Лидия Абрамовна торопила, — да вдруг в последний момент выяснилось, что более высокое начальство уже успело заказать другому автору, и почтенному. Ну, стал я тормозить; много искр вышло; знаешь, иногда тормозить и не написать труднее, чем написать: хотелось связать у тебя те исповеди в «Концах» (начала!) с конкретными оценками; тут было с чем спорить (Маканин и та знаменитая статья про туман, которая сделала тебя первым критиком года); хотел понять *необходимость* того, как ты видишь конкретные книги, — твою, внутреннюю; твой избранный сознательно взгляд «от имени российской глубинки»; ну, словом, многое

уже понял, остальное надеялся допонять; и потом, когда уже отменилось, еще думал по инерции, — и тут твое чудесное письмо, как всегда под Новый год, — я уж невольно и жду такового в начале января.

Спасибо, что прочел «Контакты». Ты прав, финал игровой, с дразнением, «беллетризмом» и пр. (Ты, кстати, этот «беллетризм» и объяснил же у меня великолепно в «ЛО», я помню.) Ну ничего лучшего не было для финала — поставил. Сейчас бы иначе кончил: у меня в «Литучебе» (№ 6) только что вышла философема про национальный жребий, — вот ее бы в финал. Тем более, что в журнале срезали кое-что: полемику с Солоухиным, и еще — как король датский в 1941-м звезду Давида надел и в синагогу пошел, а за ним вся Дания. В книге бы и восстановить все — не успел!

Что от «духовности» тошнит тебя, — понимаю. Но это наиболее близкий псевдоним, а точнее сказать — и не дадут — раз! — и сам не решаюсь — два. А что это слово жуют другие, так это не запретишь. Язык — он общий. Пусть. Как Ницше сказал: пусть сдохнут те, кто взяли мое до меня... Да нет, я, конечно, так не думаю, но они мне не мешают. Слова-то те же, да стоят немного не в том порядке. Разберутся люди, у кого из нас какая «духовность». Толстой тоже употреблял те же слова, что и всякий — каждый... ой, что это я... *тоже*... прости, в грех ввел меня!

Насчет читателя нелитературного — не знаю, право. Я действительно о читателе не думаю, то есть никакого *конкретного* (по типу) читателя не ловлю — хотя в принципе, абстрактно, символически — влюблен в моего читателя (в *любого!*) до полной потери разума. И не знаю, отчего «Контакты» — книга для литераторов (наверное, так!), а «Лесковское ожерелье», тою же рукой сделанное, насколько знаю, идет в такие слои, что мне и в страшном сне не снилось... ну, чисто религиозные.

<...>Читал ли ты, как Лобанов на «Драчунах»¹ подорвался? — «Волгу»-10? Что думаешь? Лобанов — искренний и думающий человек, хотя и косноязычный в речи и мысли*. Я его уважаю и жалею, что подорвался. А говорю вот к чему. Ты к Алексееву, конечно, непримирим. Но, видишь ли, Дед, ведь и у него своя боль есть, и Лобанов ее увидел. Хотя ни Лобанов, ни тем более Алексеев — не герои моего романа. И все ж жить надо с теми людьми, с которыми Бог дал, и их тоже жалеть и стараться понять. Ты скажешь, что нечего жалеть людей дурных (это я не персонально, а фигурально). А я отвечу, что дурных-то людей и надо жалеть в первую очередь и стараться понять, что их мучает.

Ну, вот ты берешь людей безукоризненных по репутации: Залыгина, Бакланова. И все одно чувствуешь несвободу. Потому что в своем роде и они слабы.

Впрочем, что это тебе проповедаю; с Лукониным-то я не справился.

Ладно, прими мои лучшие пожелания на 1983 год. Желаю тебе одного: писать. И публиковать — чтобы дальше писалось. Ты сейчас абсолютно нашел себя, и спрос с тебя в России огромный.

А новости у меня в семье некоторые есть: старшая дочь в августе родила. Так что теперь не только ты Дед, но и я. Не говоря о том, что у меня еще и бабка, и еще две дочери — тетки. Жена моя — «бабушка в джинсах», типичная.

Слушай, после всех революций, войн и погромов — я никак в толк не возьму — неужто это *возможно*?

Привет твоим! Жму руку. Твой Лев.

¹ Резонансная статья Михаила Лобанова «Освобождение» о романе «Драчуны» М.Алексеева и жертвах коллективизации.

* А может, и *нарочно* косноязычит. Тайнопись! Врет ради правды. Но *другим* — не прощает, когда *те* тоже врут, ради *своей* правды. И потом — эти презрительные плевки в адрес Запада... бр-р.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому

1.3.83.

Дорогой Лев,

то ли я сильно «Окал», но в старом моем «Колибри» отлетела буква «о»... Еще в самом начале февраля начал писать тебе про твоего Лескова и твоего Рыбакова. Про «огнь Фрейлиграта», который «погружаясь», «угасал»... Но письмо не справилось с задачей и было отложено. <...>

«Тяжёлый песок»¹ прочел только в декабре; было у меня чтение о фашизме, одно потянуло другое, сплелось. *Оказалось*, это я, того не понимая, 30 января тридцать третьего готовился вспоминать. Я и твою статью потому хорошо прочувствовал, и «дух противоречия» во мне едва-едва пробился и быстро сник, и будь то не статья, а письмо какое-нибудь, подписал бы вместе с тобой. Иными словами, согласен с тобой, как никогда, кажется, прежде. М.б., всякие «согласия» тебе совсем не по душе — у меня так бывает, но все равно «несогласий» хватит, а тут-то как раз, возможно, — такой пункт, — «согласие»-то и важно! В этой статье, как в никакой другой, я заметил твоё мужество — не «полемиста», «лит. критика», а обычное, человеческое. Оно есть и в книжке о Лескове, но там оно не столь отчетливо.

Про товарища Свиридова, который исчез, про расплывчатость зла, про замечательную «почву», про надпись на плите, — сколько же это всего вместило! Но «воздух», может быть, не «вмещает» — не выражает — того, что ты хочешь.

«Некуда» читал года три-четыре назад, а вот «Ангела» перечитал. Лучшее, наверное, про «Некуда», и дальше во всех главах страницы — вровень; информация об изданиях и иллюстрациях, как бы ни была интересна и наполнена смыслом, разбавляет текст. Но исполнено все вместе — в прекрасном стиле; одна фраза про «огнь Фрейлиграта» чего стоит! Сколько, однако, во всей этой истории печали! Должно быть, на обсуждении в ЦДЛ тебя хвалили, но неужто славянофильствующие господа не почувствовали, какой свободный взгляд им предьявлен на Лескова? — тобой! Или их там не было?

Ты заставил меня думать над тем, над чем я не думал. В этом случае степень согласия имеет второстепенное значение.

На меня, правда, не действуют фразы, вроде этой: «роман великого писателя попадает в руки великого критика». И «великими» они тогда не были — жили страстями своей поры и были в том правы, о вечности не хлопоча, да и роман был написан дурно, — или все-таки цензура повинна? Охотно бы поверил — настолько дурно, даже беспомощно местами.

Ну а поскольку «Ангела» недавно прочел, оспорю еще вот что: «Все всех дурачат и все всех морочат». Один Пимен ту барыню и дурачит, и морочит, а все остальные мост строят. Это у тебя тут стиль свою власть показал. Он может.

А вообще я тебя поздравляю. Это серьезная и веская книга. Я еще сильнее сгорбился над залыгинской рукописью — под твоим влиянием. Должен быть уровень и максимально возможная свобода — по отношению к материалу и всему окрестному. Не знаю, чем уж пленяют твои тексты — согласен, не согласен ли — не максимально ли возможной свободой и достоинством самого слога? У одного нашего общего знакомого в слоге — перебор значительности — а в ней мало обаяния — и достоинства сверх меры.

Неужели так и есть: те идеи и «огни» не для этой толщи? Ну что же тогда — для нее? И для нас вместе с ней?! Не отделиться же никак!

У вас, в Москве, слышно, весело: занялись Маяковским. То «державность» непременно подавай, то «державен» чересчур... То от Бриков Владимира Владимировича нужно очистить...

Иногда думаю: как хорошо, что до меня мало всего этого доносится. Писал ли я тебе, что прочел «Драчунов», и после этого статья Лобанова еще более уменьшилась для меня в своем значении.

И еще, кажется, не писал тебе, что в конце прошлого года я вынужден был рецензировать рукопись С. Баруздина² (проза) и душой не покривил, хотя проделал все с пиететом—уважением. Так что, думаю, рецензии на мою желтую книжку в вашем журнале не будет.

<...> У вас, в Москве, говорят, грипп. Остерегайтесь, не болейте. Всего самого доброго тебе и твоим близким.

Про твоего Лескова, может, когда и поговорить удастся. Письмо-то мало...

Читал для залыгинской рукописи 12-й том Сталина. Со студенчества не брал в руки. «Лит[ературный] портрет» бы написать.

Шуре твоей — поклон от нас. Твой Игорь Д. <...>

¹ Роман Анатолия Рыбакова.

² Сергей Алексеевич Баруздин — поэт, прозаик, главный редактор журнала «Дружба народов».

Лев Аннинский — Игорю Дедкову

22 марта 1983 г.

Дорогой Дед!

Спасибо за письмо, и прими поздравления, что стал ты свекром. Смотри, Дед, еще и дедом станешь. А что, я стал, и ничего!

Хочу тебе вперед на деловое ответить, а потом и на душевное. Про Шукшина — ничегошеньки нет в столе, а новое про него писать — не могу, и потому, что не умею пахать по паханому, и еще, не скрою от тебя, потому, что уж очень много его вокруг пахнут, — у меня уже почти идиосинкразия.

Ты обладаешь удивительной способностью извлекать из текста именно то, ради чего он написан. Это я про «огнь», который мы из немецко-французских высот обрушиваем в наш родной навоз. Идеи те — не для нашей толщи, нет. А вот *что* для нас — не знаю. Ощупью идем. Может, для нас — именно это *соединение* идеи с душой. Душа крутится, корежится, лжет, но — святая! Как это у нас на Руси — честных нет, а все — святые. Уважать нельзя, но не любить — невозможно. И конечно же, «не отделиться никак». Никак! Это я про себя изначально знаю. Даже весело. Главное, притвориться, что ты дурень. А потом и резать всю правду. Все всерьез — только время от времени напоминать: это я вру! Да где ж это еще другая такая земля есть, что эдак-то, и чтобы так слушали! Мне недавно передали отзыв одного (незнакового) читателя: «Я знаю, что он меня обманывает, но я его люблю».

Это я — его — любя — обманываю! А?

Ты спрашиваешь, как славянофильствующие господа снесли моего «Лескова». Не снесли. Один из них, милый моему сердцу еще с университета, веселый ерник, хулиган и забияка. Ходит, говорят, и всем своим удостоверяет про меня: он, мол, *не наш*. Чтoб не ошиблись кто.

На обсуждении моем в ЦДЛ оный забияка стоял при дверях за пять минут до начала, но не вошел, а отчалил, сказав мне на прощанье: «А ты, если хочешь знать мое мнение, приходи ко мне домой, и я тебе все скажу». То есть будешь *наш*, будет и разговор.

Другой мастодонт, ранга уже не славянофильского, а государственного, тоже при дверях стоял, беседуя с массой, а потом пожал мне руку и удалился, ничего не объясняя, что, впрочем, было ясно и без объяснений: не хотел стеснять своей особой свободного изъяснения мнений. Посмотрел на меня сквозь очки рассеянным взглядом и унес бородку в ресторан.

Ну, пожалуй, еще и третий был замечен своим уходом, что называется, с порога: тот, у которого, как ты сказал, «в слогe перебор значительности, мало обаяния и сверх

меры достоинства», — я его случайно в раздевалке застучал. Он тоже пожал мне руку, сказал, что устал, и отбыл, вполне достойно.

Так что из «соратников» на этом ристалище почти что никого и не было. Ни из правых, ни, понятно, из левых же. Даже Гусев смылся — тот аж в Воронеж дернул. Передал бразды Серёже Чупринину¹.

Но, Дед, при всем том — обсуждение прошло так интересно, что вот уж почти два месяца минуло, а все еще греет меня. Не потому, что «про меня» и «хвалили». Что «хвалили», это еще не факт, ибо хвалили с ядом: вот, дескать, сократово отродье, делает вид, что слушает собеседника, а сам издевается, и т.д. Верить нельзя! В оценках врет! Лукав! А что «про меня», так это было действительно тяжело, но, знаешь, я как-то так прикинулся это слушать, исчужа, словно оно по кого-то другого. Иначе бы — развалился там же от встречных чувств. А исчужа — было что послушать и над чем подумать!

Ну вот хоть статистика: выговорилось человек под 20. С полседьмого до полдесятого, без перерыва и без *перерывов* между говорившими, — вот так, сплошь. Кончили только потому, что *тела* от духоты сдались, *а души* еще не хотели. Марченко, Инна Соловьёва, Болдырев — просидели, не выступя, потому что *времени не хватило*, — потом мне устно договаривали в раздевалке.

Так *про что* шла речь?

А вот тебе фрагмент.

Женя Сидоров:

— ... Но честно сказать, такой критик, как А., может расцвести не во всякое время. Такие цветут в периоды консолидации. Но если завтра мы возьмемся за руки и пойдем... (*Голос: На дело! Ш у м. Другой голос: На мокрое дело! Смех*)... Да, на дело! — так ведь он с нами не пойдет. Он — сам по себе. Он человек непартийный. И поэтому он не такой веселый оптимист, как тут о нем говорили. Его веселье невеселое. В нем чувствуется катастрофа. Я не знаю, отчего в нем катастрофизм, от 1941 ли года или от 1956-го, но это критик глубоко пессимистический...

(Я ему потом: «Женя! Неужели это *так заметно?*»)

(И еще я ему потом: «Женя! Слушая тебя, я понял, почему все говорили про меня так горячо: они *про себя* говорили! Про то, что, оказывается, *можно* прожить, не завися ни от «Октября», ни от «Нового мира»! Вне мафий! Женя! Ведь *можно!*» Знаешь, что он мне ответил: «Нет, Лёвочка, *нельзя!*»)

Словом, Дед, был бы ты в Москве, я уверен, во-первых, что ты был бы и на том разговоре, и, во-вторых, влез бы в драку, и, в-третьих, не пожалел бы. Ты, кстати, фигурально говоря, и был. Опять меня припирали, почему я статью твою про рассеянный туман считаю *статьей года* и нет ли тут меж нами сговора, а я говорил, что нет сговора, честно все, про Маканина, мол, я с Дедковым никак не соглашаюсь, а про туман — сожрите, господа, и будьте счастливы.

Жаль, что тебя не случилось в Москве тогда.

А что? Никиту в Москву отпустите, а там и сами... Или не тянет в Вавилон? Я иной раз думаю: вот только до пенсии, а там подорву куда-нибудь, где потише, — сил нет на эту дикую толпу, на эту злобу вечных нехваток, на это сшибание того, что «выкинули», — все «на шарап», всех много...

Дед! *Зачем* ты взялся рецензировать Баруздина! Эти вещи вообще не надо бы делать, ни за, ни против. Теперь я, кажется, понимаю этот кульбит с моей несостоявшейся на тебя рецензией. Я-то, положим, еще найду случай, но почто — тебе! — внутренние — писать?! Ты же не для этого сделан! Еще «душой не кривить» — задача. Не надо бы этого касаться.

Теперь слушай. Человек, который про песок писал, теперь новый роман кончает³. Я читал. Там есть страшной силы фигура. Знаешь, кто? Тот, чей 12-й том навел тебя на мысль «литпортрет» его сделать. Там не *лит*, там — поглубже. Что твои «корпуса»

и «шараги», и «круги», и все то, что мы считали пределом, там была одна слепая злоба, а тут — тут взгляд посерьезнее. Это я тебе ответственно говорю, чтобы ты, если будет случай прочесть (рукопись, естественно, — дальше не пойдет), — чтобы ты не пропустил.

Жене твоей теплый привет, и поздравления же! Твой Лев.

¹ Сергей Чупринин, Алла Марченко, Инна Соловьёва, Юрий Болдырев, Евгений Сидоров — литературные критики.

² Анатолий Рыбаков, автор романа «Тяжёлый песок», новый роман — «Дети Арбата».

*Лев Аннинский — Игорю Дедкову
29 марта 1984 г.*

Дед! <...>Посмотрел я тут «Берег» Алова — Наумова¹. Боже, какая лож круговая! Какое ленивое победительское свинство! Какое гуманное снисхождение к лярве-Европе! Ох, правильно я роман не читал, так и чуял, что пустое. И знаешь, что самое жуткое? Что все это — субъективно — честно. Понимаешь? Что это честный человек честно все про себя рассказал. Как жизнью рисковал, как немку драл и как это все немке — простил. Я вот только одно хочу. Если мне велят умиляться, что он немку эдак простил и даже в постель с нею лег вместо сержанта зверского, — так нельзя ли попросить для пробы нашего гуманизма — сюжетец зеркальный? Про любовь, скажем, курской девочки и немецкого «офицера» в 1942 году? И чтоб так же «благородно», а? Боюсь, не выйдет. Боюсь, дальше «немецкой овчарки» мы эту девочку не погладим.

Ну а если так, то на кой черт мне эти философские экзерсисы в западногерманских борделях за казенные деньги?

А вот Вадима Абдрашитова — посмотри! «Остановился поезд» — видел? Парад планет» — видел? Дед! Не пропусти! Это ясность страшная! Шукшинское — сегодня.

Подожди, я ж тебе совсем не то собрался писать. Я тебя поздравить хочу. Ты — счастливый человек, талантливый, тяжелый по главной думе, упрямый. Я тебя считаю душой уникальной и мастером замечательным. Ты себе судьбу выбрал — там, за 376², — по таланту и по характеру. По случаю твоего 50-летия я тебе это говорю. Держи линию, не злись на начальство, начальство — по народу, на народ — можешь злиться, он сдюжит, ему на пользу, злость твоя — святая. На московских литераторов — не злись, они не счастливые. Тебе вообще с ними нечего делить, и пусть они на тебя злятся, а тебе их и пожалеть не грех. Главное же — будь уверен, что твое перо нужно этой земле. Я это знаю, ты человек с жизненной идеей и с болью, ты нужен. Это невеселое дело — юбилей, но деваться некуда, и надо этот крест волочь дальше.

Ой, что-то я в пафос впал, не к добру это.

Насчет поездки к тебе... ну, как же я с моим выводком? Ты-то с Тamarой посвободнее — детей оженил и вырастил. А я ж привязан, да и с внучкой надо сидеть. Мне не вырваться. Может, осенью? Как? Лето-то уж расписано: Крым там, дача, не бросишь выводок. <...>

Жму руку! Твой Лев. <...>

¹ Фильм по роману Юрия Бондарева.

² 376 км — расстояние от Костромы до Москвы.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому

[Дек. 85.]

Дорогой Лев, с Новым годом! Здоровья, благополучия, много сил тебе, Шуре, всем вашим девочкам! Хорошего, счастливого года!

Будем жить дальше, а? Вдыхать свежий ветер перемен? И вовремя переводить дух? И снова вдыхать?

Дорогой Лев, у тебя очки классика. Ты должен больше видеть. «Наскрозь» — так назвал свою новую поэму Владимир Некляев (БССР). Ты будешь больше видеть, и потомки лучше разглядят тебя. Таковы перспективы. <...>

А так, что ж, жизнь идет. Надеяться *не* на что, *не* на кого — на себя. Но краешком сознания, каким-то все еще молодым — надеешься и на ход вещей, на вывод войск и прочие вещи, более необходимые, чем плач по рекам... Плач по людям...

А видел ли фильм Климова—Адамовича¹? Пережил? Я потом шел по городу так, будто что-то со мной случилось — такая была тяжесть. М.б., я напишу, что думаю, для здешней газеты. А фильма Германа еще не видел.

Читал ли ты Дудинцева, Приставкина²? Издать бы! Сейчас в литературе — остановка, а тогда бы, глядишь — сдвинулось бы хоть что-нибудь. <...>

Будьте здоровы и счастливы. <...> Игорь Д.

¹ Фильмы «Я из огненной деревни» и «Мой друг Иван Лапшин».

² Романы «Белые одежды» и «Ночевала тучка золотая».

Лев Аннинский — Игорю Дедкову

6 января 1986 г.

Дорогой Дед!

Ну вот, теперь я наконец-то знаю, *кто* согнал с трибуны съезда славных сынов писательского Секретариата! Не продать ли мне твое письмо Михалкову за золото? Сам-то я на съезд не попал: мне дали билет, в котором я обозван Львом Николаевичем; я к этому придрался и не пошел, да и не хотелось, я это все не люблю; но пожалел, когда мне рассказали, как отцы Союза, то есть сыны, шли освищенные, — посмотреть бы на них. Так-то они себя чувствуют в АБСОЛЮТНОЙ безопасности, а тут такое. О, рабская порода, да мы любой «свежий ветер» так сходу оприветствуем, так задницы беззазорно залижем, что *любые* перемены схаваем туда же!

Фильм климовский что-то сложно лег в меня. Все, что там от Алеся, — правда, страшная. Лицо героя. Много правды. Но Климов из этой правды делает кинотовар. Я не могу это слопать, колом встает. Когда это немцы устраивали из экзекуций игрища? Пусть Климов «Знак беды»¹ перечитает — вот там немцы правильно написаны. А то он *наш* разгул на немцев вешает. Или пусть в параллель какое-нибудь афганское факелище представит, с оборотом. Тогда я *стану* над этим его игрищем думать. А так — пусть идет в Канн со своим кино.

Дед, я рад был получить от тебя новогодний привет. Даже и знал, ждал. Мы с тобой всегда на этом рубеже обмениваемся. Будь счастлив и работен в наступившем году. Дела твои прекрасны, книга о Залыгине крепкая (крепче его рыхлой честной прозы). Давеча я читал лекцию в Ярославле: ты очень популярен в читателях; спрашивали о тебе.

<...> Обнимаю. Лев Ан.

¹ Повесть Василя Быкова.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому

[Дек. 86.]

Дорогой Лев, с Новым годом!

Здоровья и благополучия тебе, твоей Шуре и всей вашей семье!

Пустым мы тогда делом занимались, когда ходили к той болгарке, но хоть повидались, и то благо.

От Федя и Ланщикова, а также от Куницына и других у тебя обо мне исчерпывающая информация. Славные люди с чистыми мыслями...

Хорошо еще заставы на московской дороге не выставлены... Этой мафии разве что боевой дружины не хватает, хотя по некоторым сведениям, есть и она...

И все-таки я думаю, что жизнь повеселела. Не моя — общая, а это самое важное. И в Костроме по-прежнему хорошо мне жить — не зря же отдано столько лет жизни!

Суждено или не суждено оказаться мне в Москве, на журнальном поприсе и «воссоединиться» со всей своей родней, — не знаю.

Это все-таки не главное.

Я — человек 56-го года, и мне сейчас легче жить. Старых иллюзий нет, а новые — гоню, и все равно — легче. А ты — не согласен? Жаль, 30-летние исторические витки не для коротких наших жизней — непозволительное расточительство... Жаль жизни. Жаль неистраченных сил. Это книгу можно отложить на 20 лет, а потом издать. А наши силы и возможности — для жизни, не только для литературы, — если отложены, законсервированы, отброшены, — не восстановить...

И все равно — хорошо. Серенькое небо, медленный снежок, тихо — хорошо. А брань — брань что: на врату не виснет... И надеюсь, что грязь эта ко мне не пристанет...

Ты-то позакаленнее меня, слыхивал кое-что; да и я закаленный, чуть иначе, но — не сломать и не запугать...

Счастливого Года, Лев. Будем жить дальше.

Игорь Д.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову

11 января 1987 г.

С Новым годом, Дед, дорогой мой, я уже ждал найти дома твое традиционное послание и нашел его, воротясь из Малеевки, — с удовольствием же по традиции и салютую тебе.

Ты немножко нервничаешь от этой брани? Но это же все запрограммировано! Вообще-то я понимаю, что оно не по тебе: ты как-то в *другом* всегда, а тут такое. Я <...> хотел сказать про твою бондаревскую операцию (дискуссия о романе «Выбор». — *Прим.ред.*). На фоне твоего теперешнего участия в критике эта операция, я думаю, несколько проигрывает. Ты знаешь, что пишешь про пустое, однако скрываешь это от себя и немного зависишь от своей смелости <...> Твое в ней участие имеет *только* один смысл: восстание против «начальства». Слава тебе, но и резонанс соответствующий. Вот в «Мосновостях» — там другое, там глубь и музыка, и в «Тумане» ты беспримесный. А тут — очередная «гласность», прости господи. Мне не то чтобы горько от этого возвратного ренессанса 1956 года образца — мне страшно. Это ж чтобы *новых* слов ни от кого не услышать — зовут нас, стариков, чтоб мы дошамкали наши когдатощные молодые слова. Что с нами делают, что мы делаем, что мы такое в этой ситуации, ты понимаешь? Что это за «свобода» такая, которую *объявили!*

Ах, Дед, давай жить дальше. Обнимаю тебя! Твой Л.А.

Семье твоей — теплый привет. У нас мороз 30°.